

РУССКАЯ РЕЧЬ

ISSN 0131-6117

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Академия наук СССР
Институт русского языка

7 '91

Научно-популярный журнал
издается с января 1967 года.
Выходит 6 раз в год.

МОСКВА "НАУКА"

В НОМЕРЕ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 3 *М. И. Исаев.* Закон принят. Что дальше? ©

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 10 *К 100-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама*
Л. Л. Бельская. Цитата или «дикада»? ©
16 *Э. А. Обухова.* Слово и имя в поэзии Осипа Мандельштама ©
23 *А. Е. Аникин.* О литературных истоках «детских»
мотивов в поэзии Анны Ахматовой ©
29 *О. Е. Майорова.* Два письма Н. С. Лескова ©

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- 39 *Вяч. Иванов.* Наш язык

АНТОЛОГИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

- 49 *Владимир Туриянский* ©

ПИСАТЕЛЬ И СЛОВО

- 54 *А. И. Солженицын.* Русский словарь языкового
расширения ©

КУЛЬТУРА РЕЧИ

- 60 *Т. С. Коготкова.* Народно-диалектный прототип со-
временного термина ©
66 *Э. И. Хан-Пира.* Еще раз о склонении слова ГОСТ,
или о ведомственной морфологии ©
71 *Р. Х. Шакиржанова.* Частица *не*: отрицание или
утверждение? ©
75 *Л. Г. Смирнова.* Слово в публичной речи ©

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

- 81 *М. И. Преображенская.* Евфимий Федорович Кар-
ский ©

-
- ИЗ НАСЛЕДИЯ ЯЗЫКОВЕДА**
- 86 *А. М. Селищев.* Язык революционной эпохи
-
- ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ**
- 103 *А. В. Барандеев.* Русские космографии XVI–XVII веков ©
- 110 *Г. В. Судаков.* Старая женская одежда и ее наименования ©
- 117 *Л. М. Городилова.* Енисейская товарная роспись ©
-
- ОНОМАСТИКА**
- 123 *А. В. Суперавская.* Как Вас зовут? ©
-
- НА КАРТЕ РОДИНЫ**
- 129 *Е. С. Огин.* Усёрд ©
- 134 *В. А. Бушаков.* Почему Боспор стал Керчью? ©
-
- ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА**
- 142 *В. А. Коршунков.* «На головушку сели!» ©
-
- ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ**
- 147 *Г. Л. Зеленин.* О старом «новом серебре» ©
- 151 *А. Л. Топорков.* Чур меня! ©
-
- РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ**
- 156 *А. С. Подчасов.* Первая советская магистратура ©

Обложка выполнена *Е. Чухановой* ©

Закон принят. Что дальше?

М. И. Исаев,
главный редактор журнала
«Русский язык в СССР»,
доктор филологических наук

Законопроект. Закон. Право. Правовое государство...

Если бы филолог составлял частотный словарь перестроечной пятилетки, эти слова оказались бы, пожалуй, самыми употребительными (конечно же, после слова-заклинания «перестройка»!)

Этими словами ораторы-депутаты украшают свои страстные теломонологи. Журналисты, поднаторевшие на модной лексике, оснащают ими свои бичующие строки.

«Стеклянный блеск» приведенных слов заметен при обсуждении сколько-нибудь важных проблем, доставшихся нам от эпох культа личности, волюнтаризма или застоя.

Законопроект. Закон. Право. Правовое государство... Сияние этих лексем воздействует сильнейшим образом как на слушающего, так и на самого оратора. Притом, на последнего, кажется, больше. Своеобразный самогипноз...

Да, да. Иначе как можно забывать, что и до сих пор мы не были без законов, как туземцы без платя? А самое главное, как можно забывать, что законы тогда хороши и полезны, когда они соблюдаются, когда они «работают», то есть выполняют свои функции?

Такие мысли сами приходят в голову, как только выключишь телевизор или радио, отодвинешь газеты и журналы и погрузишься в невеселые размышления. Хоть закрой глаза, а думы тебя не оставят в покое, ибо бесчисленный ряд блестящих, но не действующих законоположений проплывает перед глазами.

Законопроекты, законы... Гладко бывает лишь на бумаге. Почему-то законодатели наши не замечают «овраги», которые сплошь и рядом пересекают территорию огромного государства. А в некоторых регионах не то что овраги — глубокие ущелья...

Наделяются, скажем, союзные республики большими правами. Это хорошо. Но каждая республика тоже многонациональна. Ее же пазвание — от одной из многих национальностей. «Основная коренная нация», как правило, правит бал...

Возьмем заботу о благосостоянии районов. Она прежде всего проявляется, разумеется, в тех районах, где проживает «основная коренная национальность». Ее культуре — все внимание. Ее язык провозглашается главным, особым, то есть «государственным». Значит, ему всяческую государственную заботу и внимание...

А как в таком случае быть с равноправием всех советских народов и их языков, положения о котором украшают все существовавшие и существующие советские конституции? Но законы тогда законы, повторяем, когда они выполняются. Иначе они сходны с украшениями, лежащими в старых сундуках.

Именно в обстановке бездействия законоположений долгие десятилетия никого, кажется, не смущал, к примеру, и факт наличия у языков трех наций (армянской, грузинской и азербайджанской) особого титула — «государственный язык».

И на самом деле, эти языки (затем и абхазский стал «государственным») ничем не отличались от других, не «государственных». В застойные времена как другим языкам, так и этим четырем, не уделялось достаточного внимания. Это было особенно заметно на фоне развития среднего и высшего образования, в которых охотнее использовался русский язык. На нем же говорили, как правило, на республиканских конференциях и всевозможных совещаниях. Даже в районном масштабе общественно-государственная деятельность чаще всего обслуживалась языком межнационального общения.

Что касается автономных образований, то отставание родных языков стало еще более разительным. Стараниями руководителей народного образования и культуры национальные языки были изгнаны из области просвещения. Чуть ли не все школы автономных республик и областей, национальных округов были переведены на русский язык обучения.

Руководители областей и округов нашли прекрасную возможность «отрапортовать» в центр о степени «высошения интернационализации» народного сознания на вверенных им территориях. За «благополучными» рапортами, как мы помним, следовал золото серебряный дождь орденов и медалей. Поводов для награждения всегда было предостаточно.

Награды лежат в шкапулках, а «дело», как говорится, сделано. Многочисленные национальные языки народов СССР отстали

от социального прогресса своих носителей. А они ныне в полный голос заговорили о необходимости выправления положения. Это понятно. Понятно должно быть и то, что для навестания уиущенного требуется приложить немало усилий. Необходимо поработать всем, от кого зависят развитие родных языков, то есть лингвистам, деятелям просвещения и культуры.

Но, как и в других отношениях, вместо реальной работы, к сожалению, верх одерживают настроения «митинговой демократии», когда побеждают порой эмоции, а не разум. В этой атмосфере решение действительно имеющихся национально-языковых проблем с самого же начала увязано с поисками новых правовых норм в области языка.

Как и в других случаях, более расторопными оказались республиканские законодатели. Они в ранг «государственных» возвели все языки наций, давших название союзным республикам (кроме РСФСР). Поэтому сейчас у нас пятнадцать «государственных» языков (союзно-республиканские плюс абхазский) и 115 «негосударственных». Это — ситуация, которая заставляет размышлять каждого, кто еще придерживается ленинского общегуманистического волежения об абсолютном равноправии всех народов СССР и их языков. Тревога о том, что большинству языков («негосударственных») народов нашей страны, а следовательно, и их носителей окажется в неравном положении, передалась в наших народных депутатам.

Верховный Совет охватил и эту область нашей бурно меняющейся жизни своей законодательной деятельностью, и закинула работа. Ее возглавила Комиссия по вопросам развития культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия. Законопроект о языке разрабатывался месяцами и серьезно. К его подготовке привлекались ведущие ученые-языковеды, юристы, социологи, писатели. Было подготовлено несколько вариантов Закона. Наконец, после долгих обсуждений Закон «О языках народов СССР» в первом чтении был принят Верховным Советом СССР (15 ноября 1989 г.). И опять вошли недели и месяцы интенсивной доводки Законопроекта. Будучи одним из участников этой работы, я не понаслышке знаю, с какой заинтересованностью и насколько серьезно работали специалисты и депутаты над каждой статьей Закона...

К сожалению, проект Закона не был опубликован для всенародного обсуждения. Однако в наше время ни одно решение важной общественной проблемы нельзя утаить в кабинетах. Вот почему почти все газеты страны развернули дискуссию по на-

ционально-языковым вопросам, связанным с принятием Закона о языках.

В конце марта прошлого года доработанный Проект был вновь рассмотрен на совместном заседании Комиссии Совета Национальностей по вопросам развития культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия и Комитета Верховного Совета СССР по законодательству и получил поддержку.

Разумеется, было опять высказано немало замечаний. Но Проект в основном был поддержан и вынесен на утверждение в Верховный Совет СССР, где 24 апреля 1990 г. после бурных дебатов он был принят.

Острота прошедшего обсуждения объясняется современным состоянием межнациональных отношений в СССР. Дело в том, что прогрессивные в своей основе рост национального самосознания и развитие экономической самостоятельности республик сопровождаются такими негативными явлениями, как стремление к национальной обособленности, экономической и культурно-языковой дезинтеграции и т. д. Соотношение этих противоположных тенденций зачастую диктует и направленность языковой политики в той или иной республике.

В этом плане, пожалуй, своеобразной «лакмусовой бумагой» послужила проблема «государственного языка», на которой стоит остановиться особо.

Первые упоминания о государственном языке появились в конституциях Армянской и Грузинской ССР, затем Азербайджанской ССР и еще позже Абхазской АССР. В них провозглашены государственными языки основных коренных наций. В то же время, и это надо подчеркнуть, на территории этих республик остальные языки народов СССР также наделялись равными правами. Вот почему эти положения конституций закавказских республик воспринимались лишь как указание на необходимость проявлять со стороны республиканских правительственных органов государственную заботу о соответствующих языках. Иными словами, ни о какой фактической дискриминации каких-либо языков не могло быть и речи и при наличии положения о государственном языке.

Другое дело в наше время, когда государственными провозглашены языки всех союзных республик, кроме РСФСР, и приняты другие программные документы об использовании языков. Притом вопросы эти зачастую решались в спешке, в обстановке «митинговой демократии» и без достаточного учета интересов всех народов, равноправного использования всех языков.

Это не могло не породить существенных различий при определении правового положения языка народа, давшего название данной республике, и языков других народов СССР, а также русского языка, являющегося средством межнационального общения в рамках всей страны. Так, в Казахской и Туркменской союзных республиках признается свободное функционирование русского языка наравне с государственными языками этих республик. В девяти республиках: на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии, Латвии, Киргизии, Таджикистане, Армении — русский язык определен как язык межнационального общения. В Литве он признается межнациональным лишь за пределами республики, а в документах Грузинской и Эстонской союзных республик статус русского языка не определен вообще.

Существующая в решении правовых аспектов языковой жизни разногласия, думается, не случайна. Национально-языковая политика, проводимая той или иной республикой, в общем отражает соотношение центробежных и центростремительных сил.

В этом плане характерно, что юридический статус русского языка оказался наименее благоприятным в Грузии и прибалтийских республиках, где особенно сильно звучат голоса о необходимости выхода данных республик из состава СССР. Об этом, кстати сказать, свидетельствует и ход обсуждения Законопроекта в Верховном Совете СССР, где представители именно указанных четырех республик (Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии) выступили против предоставления русскому языку статуса официального языка СССР. По их мнению, русскому языку было бы целесообразно придать статус лишь «языка федеративных отношений».

Подобная постановка вопроса не могла не вызвать резкого отпора по двум причинам. Во-первых, игнорирование естественно сложившейся роли русского языка в нашей многонациональной стране может способствовать дальнейшему развитию языковой дезинтеграции, появившейся в связи с принятием республиканских законов о языке. Во-вторых, провозглашение республиканских государственных языков ущемляет права языков других народов СССР.

Как отмечал в своем докладе на заседании Верховного Совета СССР 24 апреля 1990 г. Ч. Т. Айтматов, введение в действие республиканских законов о языках в отдельных случаях осложнило взаимоотношения республики с автономными образованиями. Наверное, поэтому представители ряда автономных образований, не входящих в РСФСР, а также национальных меньшинств, не имею-

щих государственности, настаивали на определении статуса русского языка как общегосударственного, видя в этом определенную защиту своих национальных и гражданских прав в составе той или иной республики.

Эта точка зрения поддержана в большом количестве писем и в обращениях в Верховный Совет, включая послание большой группы депутатов Верховного Совета СССР (32 человека). Многочисленные авторы писем и обращений в Верховный Совет требовали провозглашения русского языка общегосударственным на всей территории СССР как обязательного и неотъемлемого атрибута федеративного государства.

Из сложившейся в обсуждении законопроекта о языках кризисной ситуации депутаты нашли выход, приняв компромиссный вариант: русский язык в СССР получил статус официального языка СССР.

Итак, Закон принят. А что дальше?

Разумеется, он не во всем удовлетворит многих. Так, в разных статьях можно найти противоречивые утверждения. Скажем, уже само деление языков на «государственные» и «негосударственные» — не что иное, как отход от концепции о правовом равенстве языков всех народов СССР, о чем говорится в Законе.

Имеются в Законе и чисто «теоретические» утонченные положения. В этом отношении характерен третий абзац статьи № 14, который провозглашает, что «вручаются народным депутатам СССР по их требованию в переводе на язык соответствующей союзной, автономной республики» проекты документов, вносимых на рассмотрение Съезда народных депутатов, Верховного Совета или его палат. Помимо практической сложности выполнения этого положения здесь, как и во многих других статьях, кроется юридический вопрос. А почему это касается лишь языков союзных и автономных республик, ведь их только 35 из 130 языков народов СССР? А что, депутаты других 95 национальностей находятся в неравноправном положении?

Вопросов к Закону «О языках народов СССР» может быть бесчисленное множество. Несмотря на это, теперь, после принятия Закона, центр тяжести необходимо перенести от дискуссий о его качествах на вопросы его практического воплощения в жизнь.

Есть прекрасный выход из «юридических тупиков». Он заключается в признании примата интересов и прав личности. Не может быть оправдано юридически, тем более морально все то, что ущемляет личность. А велед за этим должны идти интересы народа-этноса. И не важно, образует ли данный этнос союзную или автономную республику, автономную область или вовсе не имеет

никакой национальной государственности. Соблюдать права человека, личности — высший нравственный закон, разрешающий любые противоречия в законах юридических.

И еще. Необходимо прекратить охаивание и всяческое поношение действующих законов. Это воспитывает правовой нигилизм у населения. Пора наряду с законотворчеством проводить правовое воспитание граждан. Если принятые законы будут уважаться и соблюдаться, то наше общество скорее выйдет из кризисного состояния во всех сферах жизни, включая и межнациональные отношения.

Что касается Закона «О языках народов СССР», то он даст хороший шанс выправить положение, создавшееся в языковой жизни нашего многонационального общества. Думаю, специалисты и прежде всего ученые-языковеды должны предпринять практические шаги по дальнейшему развитию языков всех народов Советского Союза.

Пыле перед ними стоит новые проблемы, такие как усовершенствование письменностей, дальнейшее развитие терминосистем литературных языков, культура родной речи.

Наряду с этим по-прежнему стоит и проблема изучения русского языка как общего языка межнационального общения всех народов Союза ССР, наконец, как официального языка СССР. По эту работу ни в коем случае нельзя вести в ущерб родным языкам, что имело место в прошлом. Оба языка — родной и межнациональный — нужны каждой нации, каждому народу, как две руки человеку...

Не могу по сказать в заключение, что именно из этого будет исходить в своей деятельности журнал «Русский язык в национальной школе», который с 1991 г. именуется «Русский язык в СССР». Вопросы методики преподавания отныне будут решаться на широком фоне социокультурных проблем языковой жизни в нашей стране. Русский язык рассматривается нами в контексте с культурой, литературой, выразителем которых он является.

Вот почему мы надеемся, что наряду с традиционным контингентом читателей — преподавателями-словесниками школ и вузов — наш журнал будет интересен и более широкому читательскому кругу, а именно: социологам и филологам, работникам культуры и просвещения, пропагандистам и агитаторам.

Одним словом, «Русский язык в СССР» намерен внести свою посильную лепту в решение проблем, которым посвящен Закон «О языках народов СССР».

К 100-летию со дня рождения
О. Э. Мандельштама



Цитата
или
«цикада»?

Л. Л. Бельская,
доктор филологических наук

И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

Когда-то В. Г. Белинский сравнивал А. С. Пушкина с Протеем и восхищался пушкинской способностью чувствовать себя как дома в любой эпохе, в любой стране.

Осип Мандельштам, поэт «серебряного века» русской литературы, боготворил Пушкина и, как бы подхватывая пушкинскую эстафету, тоже путешествовал в своей поэзии по разным странам и эпохам. При этом он то повторял: «Я не слышал рассказов Оссиана», «Я не увижу знаменитой „Федры“», «Я ооздал на празднество Расина», то возражал сам себе: «Я вспомню Цезаря прекрасные черты», «Я слышу Августа», «Помнишь, в греческом доме...», «Я вижу Оливера Твиста».

Испытывая «тоску по мировой культуре» (так определял он сущность акмеизма, к которому присоединился в 1912 году), Мандельштам считал себя наследником поэтов всех времен и народов: «Я получил блаженное наследство — / Чужих певцов блуждающие сны <...>», посвящал стихи Гомеру и Овидию, Данте и Ариосто, Державину и Батюшкову, Лермонтову и Тютчеву,

перекликался со многими предшественниками и современниками. Это не было буквальное цитирование, а реминисценции и аллюзии, которыми насыщена мандельштамовская поэзия, за что ее даже называют книжной. Многочисленные отголоски и намеки действительно похожи на «блуждающие сны» — они переплетаются, перемешиваются, перепутываются, и трудно бывает разгадать происхождение этих «сновидений».

Если в строке «И плачет кукушка на каменной башне своей (<...>» мы слышим отзвук плача Ярославны, а в сравнениях «стоит, прекрасная, как тополь» и «(<...> навстречу, словно пух лебяжий, / Уже босая Делия летит!» проскальзывают пушкинские «как тополь киевских высот, она стройна» и «летит, как пух от уст Эола», то уловить в образе «утешающего» ветра («Ветер нам утешенье принес...») сходство с блоковским «Ветер принес издаля / Песни весенней намека», а в словах «И я один на всех путях» — эхо пастернаковских «Воздушных путей» не так-то просто.

Вероятно, для Мандельштама, погруженного в «мировую культуру», который, по свидетельству современников, мог часами читать чужие стихи, реминисценции возникали зачастую бессознательно, непреднамеренно. Однако не случайно поэт провозгласил своим художественным принципом преобразование «чужих песен» в свои: «И снова скальд чужую песню сложит / И как свою ее произнесет», тем самым выступая против точных, прямых заимствований — за тонкие и далекие ассоциативные связи, за объединение переимчивости с переименованием. Так, если Фет восклицал: «Как беден наш язык!», то Мандельштам уточняет: «Куда как беден радости язык!» Если Тютчев сокрушался о нашем незнании своего ближайшего будущего: «Увы, что нашего незнанья / И беспомощней и грустней? / Кто смеет молвить: до свиданья / Через бездну двух или трех дней?», то Мандельштам вообще печалится о разлуках, которые приносит расставанье: «Кто может знать при слове расставанье — / Какая нам разлука предстоит?». Блоковская «черная роза в бокале голубого, как небо, ай» превращается в «праздник черных роз», а «черный бархат на смуглых плечах» и «бездонный провал в вечность» — в «черный бархат январской ночи», в «бархат всемирной пустоты». Лермонтовское «А море Черное шумит не умолкало» начинает витийствовать — «И море Черное, витийствуя, шумит / И с тяжким грохотом подходит к изголовью». Пушкинский Председатель «мира во время чумы», став фатонщиком, расприжается землетрясением и смертью.

Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.

Он безносой канителью
 Правит, душу веселя,
 Чтоб кружилась каруселью
 Кисло сладкая земля.

Фетовские

Такое пересоздание, преображение заимствованных мотивов и образов обнаруживается уже в ранней мандельштамовской поэзии, когда, например, молодой поэт в стихотворении «Истощается тонкий тлен...» (1909) пишет: «Недоволен стою и тих / Я – создатель миров моих, / Где искусственны небеса / И хрустальная спит роса...», по-видимому, полемизируя с Федором Сологубом («Я – бог таинственного мира, / Весь мир в одних моих мечтах») и с Валерием Брюсовым («Создал я в тайных мечтах / Мир идеальной природы») и заменяя таинственный идеальный мир искусственным, а брюсовские «фиолетовые руки», полусонно чертавшие звуки «в звонко звучащей тишине», – «фиолетовым гобеленом» и «нерешительной рукой», которая «эти вывела облака».

Любопытную «смесь» различных источников находим в стихотворении «Только детские книги читать...» (1908), во многом еще ученическом, но не подражательном, в котором начинающий автор пытается по-своему выразить символистское мировосприятие.

Только детские книги читать,
 Только детские думы лелеять,
 Всё большое далеко развезть,
 Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
 Ничего от нее не приемлю,
 Но люблю мою бедную землю
 Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеким саду
 На простой деревянной качели,
 И высокие темные ели
 Вспоминаю в туманном бреду.

Анафорический зачин «Только..» и выбор стихотворного размера – 3-стопного анапеста напоминают фетовские стихи: «Только встречу улыбку твою...» (и в конце «Только песне нужна красота <...>»), «Только станет смеркаться немощко...», «Только в мире и есть, что тенистый <...> Только в мире и есть, что лучистый <...> Только в мире и есть, что душистый <...>». Это о них впоследствии Мандельштам скажет: «И всегда одышкой болел / Фета жирный карандаш». В содержательном плане первые

строки Мандельштама созвучны брѣсовским раздумьям об усталости («L'ennui de vivre...» — «Я жить устал среди людей и в днях...», 1902) и поискам спасения от нее в книгах и думах («чистые источники услады», «заветных дум, лелеянных с любовью»), о воскрешении детского начала в душе («И детский трепет разлучений, / И детски нежная любовь» — «Когда твой поезд...», 1904).

Вторая строфа сопоставима и с сологубовским «Сам я смертельно устал», и с брѣсовским «Я жить устал среди людей и в днях». А признание в любви к «бедной земле» (см. тютчевские «бедные селенья») в сочетании с противительным «но», возможно, берет свой исток в дерматовской «Родине»: «Люблю отчизну я, но странною любовью! <...> Но я люблю, за что, не знаю сам», так же как парадоксальное пояснение с причинными формулами «оттого, что», «потому, что» восходит к «Мне грустно... потому что весело тебе» (ср. у Анненского: «Оттого, что неть нельзя, не мучась», «А потому, что я томлюсь с другими», «А потому, что с ней не надо света» и у зрелого Мандельштама: «Потому, что смерть неизбежна, / И ничем нельзя помочь <...>», «Потому что не волк я по крови своей / И меня только равный убьет»). Традиционна и рифма *приемлю — землю*, во всевозможных вариантах употреблявшаяся русскими поэтами, особенно симвористами: *землю — объемлю* (Фет), *приемли — земли*, *объемлю — землю*, *внемлю — землю* (Блок), *землю — приемлю* (Брѣсов, Балтрушайтис), *землю — внемлю* (Коневской).

Упоминание о качелях в третьей строфе заставляет вспомнить «На качелях» Фета и «Чертовы качели» Сологуба: в первом качаются влюбленные («на доске этой шаткой вдвоем», во втором бросает «шатучую доску» черт («Пока меня не скосит / Грозный взмах руки <...> Пока не подвернется / Ко мне моя земля»). И у Мандельштама герой качается среди темных сил (у Сологуба: «Над верхом темной ели»), правда, качели названы не доской, а «простой деревянной качелью». И этот образ, как у Фета («Но и жизнью играть нам вдвоем — / Это счастье, моя дорогая!») и Сологуба («Взлечу я выше ели, / И лбом о землю трах»), соотносится с жизнью, но без прямых аналогий. А указание на место нахождения мандельштамовского героя в «далеком саду» и мотив воспоминаний в «туманном бреду» рождает ассоциации с поэзией Блока: «И жили в радостном саду», «но живу я в далеком скиту», «цветут на дальнем берегу» и «в пылающем бреду», «в старом ласковом бреду», «в бреду ползучем», «в смертном бреду»; туманные песни и стихи, высь и даль, взор и взгляд, весна и краса.

Примечательно, что примерно в это время Н. Гумилев создает два стихотворения, вошедшие затем в сборник «Жемчуга» (1910), в одном из которых («У меня не живут цветы...») противопоставляется живое и мертвое: цветы, птицы — и книги («Только книги в восемь рядов, / Молчаливые грузные томы / Стожат вековые истома <...>»), а в другом («Роши палым и заросли алоэ...») звучит рифма «бреду—саду» («Хочешь биться в огненном бреду <...> В этом упоительном саду?»). Мандельштам как будто отзывается на эти гумилевские стихи, внося уточнение «детские книги» и давая другие эпитеты к *саду* и *бреду*.

Таким образом, с первых своих шагов в литературном «краю» Мандельштам стремился скрестить «блуждающие силы» разных поэтов, не перепевая и не подражая им. Скажем, учась у Блока, он не перенимал блоковскую символику, а вкрапывал его слова-сигналы в собственный поэтический контекст. Сумрак, словно «ржавое железо», «разъедает плоть», тоска — «танцующая змея» или большой удав, пляшущий на жестких камнях, «свиваясь и клубясь», то есть абстрактные понятия и чувства материализуются, приобретая предметное и живое воплощение. В этом же стихотворении «Змей» (1910) блоковские «души мои излучины» соединяются в одной фразе с пушкинским «музами» и «разумом»: «Я не хочу души своей излучин, / И разума, и музы не хочу» (ср.: «Да здравствуют музы, да здравствует разум!»), слышится «далекий отголосок» то Батюшкова — «Нет стройных слов для жалоб и признаний» (ср.: «Их выразить душа не знает стройных слов»), то Лермонтова — «накануне казни» «я слушаю, как узник, без боязни» (ср.: «Гляжу на будущность с боязнию <...> И, как преступник перед казнию <...>»). Так складывается «поэтика ассоциаций» Мандельштама (Л. Гинзбург), в основе которой лежит всеобщая связь и переключка всего со всем, принцип сопоставления: «...нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть — сравнение» («Разговор о Данте»).

В дальнейшем обращение О. Мандельштама к «блаженному наследству» становится, с одной стороны, все более скрытым и зашифрованным, а с другой, — все неожиданнее и парадоксальнее. Две строки, выделенные в особую строфу в стихотворении «Пою, когда гортань — сыра, душа — суха...» (1937): «Песнь бескорыстная — сама себе хвала: / Утеха для друзей и для врагов — смола», — могли быть откликом на ахматовское двустишие 1931 года:

От других мне хвала — что зола,
От тебя и хула — похвала.

Совершенно загадочной кажется концовка стихотворения «После полуночи сердце ворует...» (1931): «После полуночи сердце пирует, / Взяв на прикус серебристую мышь», хотя разгадка, может быть, таится в пушкинской аллюзии — «жизни мышья беготня». Но вот, казалось бы, «кремнистый путь из старой песни» («Грифельная ода», 1923) непосредственно указывает на элегию Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...», действительно ставшую популярной песней, однако лермонтовский мотив интерпретируется и развивается непредсказуемо:

И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в изву, заключая в стык
Кремень с водой, с подковой перстень.

Пройдут годы, и Мандельштам повторит образ «блуждающих снов», осмысливая свою поэтическую манеру: «Вечные сны, как образчики крови, / Переливай из стакапа в стакан» (1932) и обобщит свой творческий опыт в теоретических и критических работах, подчеркнув важность «установления литературного генеизса поэта, его литературных источников, его родства и происхождения», без чего невозможно ни оценить творчество художника, ни определить его место в искусстве (статья «Барсучья нора», 1922), и выразив свое отношение к заимствованию и цитированию — цитата не «выписка», а «цикада»: «Неумолкаемость ей свойственна».

Алма-Ата

Слово и имя в поэзии Осипа Мандельштама

Э. А. Обухова,

кандидат филологических наук

Секрет притягательности и яркого своеобразия поэзии Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938), «этой, по словам А. А. Ахматовой, божественной гармонии», заключен, прежде всего, в великолепном русском языке.

Одни исследователи называют стихи Мандельштама «трудными», неповторимыми, другие писали о самостоятельном и обособленном его слове, третьи — о слове, определяющемся в контексте и семантически неустойчивом.

«Я китаец, никто меня не понимает. Халды — балды!» — шутил или не шутил Мандельштам в «Четвертой прозе». Поэтический язык Мандельштама родился и развивался по особым законам, выявить два основных свойства его — принцип системы и логику развития — несложно: поэт об этом достаточно много писал. Система языка его поэзии сложилась как-то сразу, с появлением первых стихотворений, и в корне не изменялась на протяжении всего творчества. Именно поэтому наблюдения молодого на ту пору литературоведа Б. Я. Бухштаба (1904–1985), высказанные им еще в 1929 году в статье о языке стихов 38-летнего Мандельштама, и сегодня представляют несомненный научный интерес. Главное, на что обратил внимание Бухштаб, — это автономность единицы стихотворения — строфы, строки и слова. Целостность текста создается за счет «силы связыванья» поэтического языка. Таков, по Бухштабу, если говорить конспективно, принцип мандельштамовской стихотворной речи (Бухштаб Б. Поэзия Мандельштама // Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 123–148).

Можно соглашаться или не соглашаться с выводами молодого ученого, но, пожалуй, игнорируя их, трудно подойти к осмыслению таких шедевров, как «Концерт на вокзале», «Грифельная ода» или «Стихи о неизвестном солдате». Важно уяснить для себя принципиальное отношение Мандельштама к слову, суть его автономности в поэтических произведениях.

В стихотворении «Нашедший подкову» (1923), которое принадлежит к числу «трудных», есть строфа:

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная назваьем песнь
Дольше живет среди других, —
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства <...>

Очевидно, что речь идет о двух типах слов: об имени в произведении и о названии произведения, то есть ясно, что это не одно и то же. Но что такое имя? В «Нашедшем подкову» имен в буквальном смысле нет. В других же стихах, где есть имена, они почти всегда теряют примую связь с их посетителями. Б. Бухштаб писал об этом в связи со стихами «Я не искал в цветущию мгновенья / Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз <...>»: «Значение имени Кассандра чисто лексическое. Таково значение всех античных имен, любовь к которым Мандельштама известна. Посредством имен прежде всего под стихотворения Мандельштама подставляется тот античный фон, который является наиболее частым фоном в его поэзии» (Там же. С. 143). В самом деле, если значение действительных имен «чисто лексическое», то о каких «именах» идет речь в стихах: «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, / С невучим именем вмешался»; «Нам остается только имя: / Чудесный звук, на долгий срок?»

В статье «О природе слова» (1922) Мандельштам пишет о русском языке как о языке «эллинистическом», ибо он содержит ту же «самобытную тайну <...> свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью». И следом: «Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие. Поэтому русский язык историчен уже сам по себе, так как во всей своей совокупности он есть волнующееся море событий, непрерывное воплощение и действие разумкой и дышащей плоти» (Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 58, 59; далее эта небольшая статья цитируется без указания стр.). По мнению Мандельштама, воплотившееся слово — событие истории, и тогда оно наполняется смыслом, в действительности осознанным, реально пережитым, «узнанным». (В стихотворении «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» слова близкой семантики звучат дважды: «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, / И выпуклую радость *узнаванья* <...>»; «А смертным власть дана любить и *узнавать* <...>»). Явления или события жизни осваиваются, освоенное явление получает имя — слово становится *именем*, хотя предмет, сейчас на-

званный, существовал, возможно, раньше. «Скорость развития языка несоизмерима с развитием самой жизни. Всякая попытка механически приспособить язык к потребностям жизни заранее обречена на неудачу. Это насильственное, механическое приспособление, недоверие к языку, который одновременно — и скороход и черепаха», — писал поэт в той же статье «О природе слова».

Несколько неожиданно, но понятно, почему Мандельштам называет В. В. Розанова последним русским филологом, вся жизнь которого «прошла в борьбе за сохранение связи со словом». Ведь Розанов, по мнению Мандельштама, именовал только явления освоенные (ставшие своими), то есть соединенные с посетителями языка прямой связью. Интересна приведенная поэтом цитата из Розанова: «Какой ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — „смерть“. Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя уже определено, уже „что-то знаем“».

Антифилологический и антиисторический дух, по Мандельштаму, в накоплении слов без действительного исторического смысла, без «свечи горящей изнутри в бумажном фонаре», без освоенных, не ставших «домашними» слов. «Для России, — предупреждал Мандельштам, — отпадением от истории (<...> было бы отпадение от языка. „Онемение“ двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти». Опасность «онемения» Мандельштам пророчески ощущал в свою эпоху. Он писал: «(<...> русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова».

Для Мандельштама стихотворение Ф. Тютчева «Silentium!» (лат. молчание) пример развития темы «старого сомнения в способности слова к выражению чувств». Ведь слово способно стать не именем, а «ложным словом». И «язык предохраняет себя от бесцеремонных покушений». Вот почему у Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». По Мандельштаму, она может стать ложью, если это только «мысль», а не знание, если это мысль о вещи, не ставшей «утварью» в «оливинистическом» смысле, а являющейся «безразличным предметом». Тогда лучше молчание — silentium, как у Тютчева. Называя свои стихи «Silentium», поэт несомненно подчеркивал соотнесенность их с тютчевским текстом, но его «Silentium» — это уже не слово Тютчева. Это слово — «имя», принадлежащее Мандельштаму.

Она еще не родилась,
Она — и музыка, и слово,

И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Тютчев уверен, что в слове таится опасность. Для него слово — всегда ложь. Мысль неизреченная, не воплотившись, остается в «душевной глубине», в мире «до». Там, по Тютчеву, гармония, там музыка («Внимай их пенью <...>») и молчание. Мандельштам тоже говорит о каком-то мире «до», где, правда, не только «чувства и мечты». Там пребывает невоплощенным «все живое». Казалось бы, Мандельштам развивает ту же тему, но очевидно, прежде всего, разная масштабность стихотворений. Тютчев пишет о мире «до» у индивидуума, жестко обособленного от других индивидуумов со своими отдельными, закрытыми мирами. «Молчание!» — как забор, глухой и высокий. А Мандельштам говорит не об одном человеке и его мире — обо «всем живом». Молчание привлекает его тем, что здесь не нарушается единство мира. Таким образом, у Мандельштама *silentium* — это не приказ (молчание — почти глагол), а «имя» — название всеобщего мира «до». Тютчев пишет о необходимости молчания «здесь», в действительном мире — стихотворение Мандельштама пропикнуто ощущением двух миров. Это ощущение выражено и в других его стихах: «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, / С певучим именем вмешался, / По всё растаяло, и только слабый звук / В туманной памяти остался».

Мандельштам всегда был обращен к миру «до». Он трудно и болезненно осваивался здесь, где все уже «родилось». Он прислушивался, удивлялся, переживая радость узнавания, но, как в чужом доме, где все непривычно и незнакомо («Дано мне тело — что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим?» Или: «Неужели я настоящий, / И действительно смерть придет?»). Так же мучительно, как он сам, воплощалось его слово, становясь именем: «Какая боль — искать потерянное слово <...>» («1 января 1924»). О муках воплощаемого слова и следующие строки: «Отчего душа так певуча, / И так мало милых имен <...>»; «Но я забыл, что я хочу сказать, — / И мысль бесслотная в чертог тещей вернется». Найти имя, по Мандельштаму, значит «уже знать что-то» — событие или явление — и, узнав, назвать его. Это путь освоения действительности, это принцип рождения слов в языке поэта.

Заметна склонность большинства ученых, советских и зарубежных, в работах о произведениях Мандельштама сознательно или невольно пополнять «толковый словарь» его творчества — словарь «имен». Например, А. Л. Дымшиц в предисловии к книге стихотворений поэта приводит несколько примеров со словом

ласточка, считая это слово у Мандельштама многозначным. По его мнению, значение слова у Мандельштама зависит от контекста, и «ни о какой устойчивости понятия не может быть и речи» (Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1978. С. 50). *Ласточка*, как писал А. Л. Дымыц, и просто ласточка — буквально — и «символ слова», и «символ освобождения» и т. д. Между тем известно, что Мандельштам стремился к приобретению устойчивого понятия, к «слову как таковому», к слову, значение которого определяет ее контекст. Так было и со словом *ласточка*. Вот строки из стихотворения «Пешеход»: «Я чувствую непобедимый страх / В присутствии таинственных высот. / Я ласточкой дозволел в небесах, / И колокольни я люблю полет!» И другой пример из «Прославим, братья, сумерки свободы...»: «Мы в легионы боевые / Связали ласточек, — и вот / Не видно солнца, вся стихия / Щебечет, движется, живет». В первом случае очевидно, что речь идет о ласточке в прямом значении, о птице. В ней, воплощенной, то есть родившейся и живущей, для Мандельштама радость бытия и залог уверенности в том, что и он живет «здесь», и он «настоящий». Недаром поэт вводит в контекст бытовое слово *доволен*. Первые два стиха о страхе перед миром «до», который здесь называется *таинственными высотами*, а в конце стихотворения *бездной*. Два исхода попеременно овладевают душой автора, а он так тянется к реальным, так хочет закрепиться «здесь»!.

Во втором примере речь идет тоже о настоящих ласточках, о птицах, а не о каких-то «символах освобождения». Действительно, тучи ласточек закрыли солнце и наступили сумерки. Картина до боли метафоричная, а оксюморонное словосочетание *связали ласточек* — абсурдно, противополоственно и страшно, как события, происходившие в России в 1918 году. Стихотворение называлось «Сумерки свободы», заголовок был снят отнюдь не по художественным соображениям. Как видим, даже в названиях своих произведений Мандельштам не пользовался символами — оба слова в прямом значении, а сочетание их несет вполне определенный смысл.

Поэт отождествлял слово и образ, у него слово — уже образ. По его мнению, слово, ставшее символом, то есть наполненное чужим содержанием, перестает быть собой. «Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Странный контрадвиг „соответствий“, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой», — писал Мандельштам в статье «О природе слова».

Если был бы собран весь словарь Мандельштама, то, вероятно, в нем оказалось бы несоизмеримо больше существительных, прилагательных и других именных слов, чем слов, обозначающих действие. (Об этом несколько иначе писал Б. Бухштаб в уже цитированной нами статье «Поэзия Мандельштама». В частности, он утверждал, что «любимые слова Мандельштама по преимуществу прилагательные, которым, конечно, труднее окраситься символическим значением, чем именам существительным, с их изначальной субстанциональностью» — Вопросы литературы. С. 138). Случайно ли, что «словарные статьи», к необходимости которых приходили комментаторы текстов Мандельштама, по большей части относятся к именам существительным, к существительным с прилагательными и редко к глаголам. Примером может послужить словарь, составленный И. М. Семенко к новомировской публикации «Стихов о неизвестном солдате». Из восьми слов словаря только одно прилагательное — *десятичноозначенный*, остальные — имена существительные (осмысление метафоры «Я губами несусь в темноте» в конечном счете выделило ядро ее — «имя») и только одна отглагольная форма: «И бозанье свое затоваривая». К ней такой комментарий: «метафора „крупных оптовых смертей“ проходит через все стихотворение, порождая новый причудливый смысловой побег: „затоваривание“ человеческого сознания» (Осип Мандельштам. Последние творческие годы // Новый мир. 1987. № 10. С. 200–201). Как видно, и здесь Мандельштамом получено все-таки «имя».

В том же направлении исследует слово у Мандельштама автор статьи о стихотворении «Нашедший подкову». В ней можно найти материал для словаря Мандельштама к словам-именам *сосны, конь, воздух, яблоко*. Здесь *подкова* — это то, что оставил проехавший раньше путник. Нашедший подкову узнает о нем. Так же проходят эпохи, оставляя культуру, поэзию, оставляя имена (S. Broyde, Osip Mandel'stam's «Nasedšij podkovu» // Slavic poetics. Paris, 1973. С. 50–60). Эта статья позволяет приблизиться к пониманию важнейших для Мандельштама принципов: его отношению к культуре иных эпох, к своему положению в современном искусстве. Представляется, что теперь ясней и верней читается «Грифельная ода», стоящая в цикле рядом со стихотворением «Нашедший подкову» и связанная с ним общей темой.

Иначе рассматривает слово у Мандельштама Г. И. Седых и предлагает путь его контекстного прочтения: «У Мандельштама смысл объективно раскрывает себя не как предопределенная наличность, но как динамический процесс». Автор пишет о «„прозрачности“ мандельштамовского стиха для значений» (Опыт се-

мантического анализа «Грифельной оды» О. Мандельштама // Филологические науки. 1978. № 2. С. 24) — как о его постоянном качестве. Очевидно, что контекстное выявление значения слова в стихе только открывает слова для смысловых вариантов, делает их «прозрачными». Тогда «прозрачным» становится и стих, и строфа. «Прозрачность» можно заполнить любым, своим содержанием. Но Мандельштам хотел, чтобы его понимали...

Можно с уверенностью сказать, что словарь языка Мандельштама содержал бы колоссальное количество наименований. Это — названия рек, стран, городов, имена богов, литературных героев, поэтов. Слова эти тоже стали «именами» в мандельштамовском смысле. Есть небольшой словарь названий и в упоминавшейся работе Б. Бухшгаба. К строфе из стихотворения «Декабрист»: «Всё перепуталось, и некому сказать, / Что, постепенно холодея, / Всё перепуталось, и сладко повторить: / Россия, Лета, Лорелея» — автор дает такой комментарий: «„Лета“ здесь не символ, не „река забвенья“, она репрезентирует античную стихию, как „Лорелея“ германскую. Оторванные от контекста, изолированные и педализированные слова вносят с собой свои контексты, открывают и включают в стихотворение целые ряды культур: Мандельштам говорит слоями культуры, эпохами» (Вопросы литературы. С. 148).

Особую группу слов-«имен» в стихотворениях Мандельштама составляют имена поэтов. И каждое — Гомер, Державин, Баратынский, Лермонтов, Тютчев и др. — вводит в произведение «свой контекст». За одним именем может стоять эпоха, «слой культуры», как в стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» Другие имена сопряжены с миром личности поэтов, которые становятся «собеседниками» автора, между ними возникает контактный диалог.

В заключение хотелось бы сказать, что если путь к Мандельштаму лежит через слово, то ключ к полноценному восприятию его произведений — это их прочтение на музыкальном, смысловом и ассоциативном уровнях, и тогда откроется перед каждым высокий и одухотворенный мир художественного мышления поэта. «Хорошо, если его слово дойдет до людей, но это от него не зависит, и потому он не может вербовать читателя, а только надеется на дальнего собеседника — «читателя найду в потомстве я»... Если он найдет читателя, произойдет повторный, хотя и ослабленный, миг воплощения», — так писала П. Я. Мандельштам в своих воспоминаниях (Мандельштам Надежда. Вторая книга. М., 1990. С. 401). Возможно, что так думал и сам поэт.

Харьков



*О литературных истоках
«детских» мотивов
в поэзии Анны Ахматовой*

А. Е. Аникин,

кандидат филологических наук

Как можно судить по неоднократным высказываниям Анны Андреевны Ахматовой, относящимся к разным периодам ее жизни, состоявшееся в 1910 году первое знакомство со сборником «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского неизменно представлялось ей ошеломляющим событием, которое произвело перелом в ее творческой судьбе, стало для нее подлинным литературным началом. Анненский был единственным поэтом, которого Ахматова назвала своим Учителем: «А тот, кого учителем считаю (...)» («Учитель», 1945; стихи А. А. Ахматовой здесь и далее цитируются по изданию: Ахматова Анна. Стихотворения и поэмы Л., 1976).

Связи, протягивающиеся от наследия Анненского к поэзии и прозе его ученицы, очень значительны и затрагивают, по существу, все пласты творчества обоих поэтов: от глубинных, определяющих ключевые аспекты мировоззрения до сугубо внешних,

относящихся к непосредственному претворению мысли и чувства в поэтическое слово. Эти связи — еще далеко не во всем объеме изученные — идут не только от «Кипарисового ларца» (вышедшего в свет уже после смерти его создателя, последованной 30 ноября 1909 года), но и от других произведений Анненского, ярко творившего не только в лирике, но также в драматургии и критической прозе (и как ученый: в филологии, педагогике).

Не раз писалось о том, что поэзию Ахматовой прокизывает чувство нравственной виновности и протекающих из этого мук совести. В более общем плане следует говорить об основополагающих для Ахматовой категориях памяти совести, в обращении к которым и «принятии на себя вины, индивидуальной и общей», она видела спасение в «атмосфере всеобщей греховности» (Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Ахматова и Кузмин // *Russian literature*, IV. 1978. С. 245).

Одним из важных нравственных ориентиров для Ахматовой, несомненно, было творчество Анненского, где центральную роль играли категории памяти-воспоминания и совести, выступающей как жалость, покаяние, чувство вины за чужие обиды и страдания. Своего рода квинтэссенцией мотива совести у Анненского было его обращение к образам, так или иначе связанным с детством материинством. Эти образы подавались им, как правило, в трагедийном по-сврицидовски ключе (через картины страданий и мук).

Свойственное Анненскому восприятие темы детства отчетливо выражено в стихотворении «Дети»: «Нам — острог, но им — цветок... / *Солнца*, люди, нашим *детям!* (<...> Но безвинных детских слез / Не омыть и покаяньем, / Потому что в них *Христос*, / Весь, со всем своим *сиальем*» (стихи Н. Ф. Анненского приводятся по изданию: Анненский Иннокентий. Стихотворения и трагедии. Л., 1959; курсив здесь и далее наш — А. А.). В этих стихах и, шире, в творчестве Анненского в целом, отразилась связанная с именем Ф. М. Достоевского творческая традиция, которую сам Анненский называл в своих критических статьях «поэзией совести». Ограничимся одним примером из «Братьев Карамазовых»: «(<...> то ли падо душе малого еще *дитяти?* Ему надо *солнце*, детские игры и всюду светлый пример и хоть каплю любви к нему»; «*Деток* любите особенно, ибо они тоже *безгрешны*, *яко ангелы*, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших (<...>)» (Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 11. С. 371, 376).

Тесные рамки журнальной статьи позволяют затронуть лишь некоторые моменты решения Ахматовой «детской» темы, глубоко

усвоившей основные принципы ее трактовки у Анненского (дети и их матери в мире, где царит несправедливость, зло, безумие, смерть, страдания и т. п. Более подробное освещение затрагиваемого здесь вопроса содержится в следующей работе: Аникин А. Е. Ахматова и Анненский. Заметки к теме. I–VI. Новосибирск, 1988–1990).

В стихах ранней Ахматовой (1910–1920) определяющим является мотив нежной материнской любви и заботы, который был обусловлен автобиографически: в 1912 году у нее родился сын Лев (Лев Николаевич Гумилев, ныне известный советский ученый-ориенталист). Но в этих стихах слышатся и ноты раскаяния, материнской вины.

В стихотворении «Где, высокая, твой цыганенок...» (1914) мотив вины звучит «остраненно», от лица своего рода литературной «маски» Ахматовой – цыганки: «Доля матери – светлая пытка, / Я достойна ее не была». Укоры совести (мучающие женщину, по-видимому, никак не повинную в смерти своего ребенка) очень напоминают рассуждение из статьи Анненского «Брауд-Ибсен»: «Если у вас умрет ребенок, еще не умеющий говорить, то вы будете не только несчастны, а пришиблены его смертью, и будь вы решительно ни при чем в самом случае смерти, вы все же не так-то скоро справитесь с угрызениями своей потревоженной совести» (Анненский Иппокентий. Книжки отражений. М., 1979. С. 174).

Ахматовская «Колыбельная» (1915) содержит смысловой ход, удивительный по степени нравственного и художественного бесстрашия. В проникнутых материнским раскаянием стихах, обращенных к сыну:

*Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать*

обнаруживается отсылка к «вакхической драме» Анненского «Фамиры-кифарод», где говорится о безрадостном детстве музыканта Фамиры (в нем узнаются черты свринидовских героев, в частности, Ипполита и Иопа), брошенного обезумевшей по воле богов матерью – нимфой Аргиопоэ. Приведем один из адресованных ей монологов Фамиры: «Оставь меня. Мне страшно. / Иль матери так любят? Я слышал, / Что песни их, как полог, тихи; эти ж / Твои слова и ласки, как вино, / И кожу жгут, и память помрачают». Такая автохарактеристика, как *дурная мать*, несомненно, плод безжалостной совести, склонной бесконечно преувеличивать вину – скорее всего, мнимую – лирической героини «Колыбельной».

Безжалостная рефлексия Ахматовой матери отразилась в стихотворении «Буду тихо на погосте...» (1915), являющем пример

трактовки темы детства-материнства с позиций памяти-совести. Последние четыре строки этого стихотворения:

Знаю, милый, можешь *мало*
 Обо мне *припоминать*:
Не бранила, не ласкала,
 Не водила причащать —

возвращают к «вакхической драме», к сцене четвертой — «Голубой эмали», где описывается первая после двадцатилетней разлуки встреча Аргивона с сыном. Речь идет об отрывке из монолога Нимфы, убедившейся в том, что Фамира не помнит ее и равнодушен к ней:

<...> простить

Не можешь ты безумной нимфе *детства*
Холодного, без ласки и без тех
 Нам *памятных* навек причуд ребячьих,
 Когда *бранил* нас мать, потом смеется,
 Потом, *лаская, плачет*, а в окно
 Глядят деревья <...>

Проникнутый болью монолог Нимфы и некоторые другие стихи «вакхической драмы» создавались Анненским с оглядкой на переведенную им трагедию Еврипида «Ион», — в частности, на то ее место, где главный герой сетует на судьбу, разлучившую его с матерью:

Без имени, от бога взыскан только,
 Судьбой же *не облакан*, сколько дней.
 Пока другой бы *нежился* в объятиях
У матери, я молока лишен
 Был женского, отрадной этой пицци.
 А *мать* была ль счастливее? *Она*
 Ведь тоже *не ласкала сына*...

(цитируется по изданию: Еврипид. Трагедии: В 2 т. М., 1969. Т. 2. С. 327).

Чрезвычайно интересно осуществленное в духе Еврипида развитие темы «холодного» детства в статье Анненского «Пушкин и Царское Село»: «Пушкин любил Царское Село, потому что там прошло его отрочество и юность, и нам возражат, пожалуй, что ранние годы жизни всегда кажутся розовыми в воспоминаниях <...> Да, но отчего же Захарово и Москва *гораздо реже вспоминались* Пушкину, и отчего в стихах его *нет совсем трогательного образа материнской ласки*, как у Гоголя, у графа Льва Толстого, у Гончарова (вспомните *слезу Обломова*)?» (Анненский Иннокентий. Книги отражений. С. 311). Это наблюдение вызывает

в памяти известные моменты биографии Пушкина, который для матери был «<...> ничем не любезный ребенок <...>» (Тынянов Ю. Соч.: В 3 т. М.—Л., 1959. Т. 3. С. 65). Статья «Пушкин и Царское Село» была хорошо известна Ахматовой и оказала на нее большое воздействие.

Влияние творчества Анненского на позднюю (начиная с 30-х гг.) поэзию Ахматовой весьма показательно в стихотворениях, отражающих ужасы войны, и как следствие — искаженные детские судьбы. Это и «Щели в саду вырыты...» (1942), где говорится о «питерских сиротах» и где грохот бомбежки диссоциирует с «детским голосом», и стихотворение «Говорят дети» (1950), в котором «голос» Учителя слышится, прежде всего, в отнимающем душевный покой напоминании о страдающих детях. В идиллическую картину наступающего лета здесь врываются «горькие» звуки «хора сирот».

Этому «хору сирот» свойственны исключительная чистота и возвышенность. Ахматова утверждает необходимость охранять детей, для нее это — абсолютный, общечеловеческий императив: «Вот он <...> Всеобщий сын, всеобщий внук. / Клянемся, / Его мы сохраним для счастья мира!» Идея всеобщей людской ответственности, «муки» за судьбы детей, как мы помним, с большой силой была выражена Анненским в стихотворении «Дети»: «Люди! Братья! Не за то ль / И покой наш только в муке...»

Обращение к «поэзии совести» Анненского—Достоевского можно проследить и на примере стихотворения «В пионерлагере» (1950). Оно посвящено воспитаннице Ахматовой, внучке ее мужа Н. Н. Пунива, Ане (Анне Генриховне) Каминской и пропизано радостной, праздничной интонацией (солнце, танец, яркое небо, знамена, счастливый пейзаж Павловского парка).

Ко времени написания «В пионерлагере» Н. Н. Пунин, психически репрессированный, находился в заключении, как и сын Ахматовой — Л. П. Гумилев (в 1950 году эти обстоятельства, конечно, не могли быть явно отражены в произведении, предназначенном для печати). Наряду с солнечным началом, в стихотворении правомерно предполагать «острожное» (скрытое, неявное); ср. афористичные строки Анненского: «Нам — острог, но им — цветок.../Солнца, люди, налим *детям!*» Волнующая встреча поэта с «племенем младым» (ср. взятый Ахматовой пушкинский эпитаф к этому стихотворению) просветляет его горькие раздумья. На них косвенно указывает тот факт, что начало ахматовского стихотворения («Как будто заблудившись в нежном лете, / Бродила я <...>») отсылает читателей к знакомому стихотворению 1914 года о лишившейся ребенка цыганке: «Каждый день

мой — веселый, хороший, / *Заблудилась я в длинной весне* <...> *Всё брожу я по комнатам темным, / Всё ищущу колыбельку его*».

Конечно, ни Ахматова, ни ее Учитель Анненский не были детскими, то есть нишуемыми для детей, поэтами. Но звучащие в их произведениях и возведенные ими до уровня художественного шедевра любовь и сострадание к детям, а также высокая духовность, правдивость и гуманизм их творчества в целом, перебрасывают от произведений Анны Ахматовой и Иннокентия Анненского мост в мир детства-материнства.

Новосибирск





Два письма Н. С. Лескова

Публикуемые письма Н. С. Лескова (1831–1895), одно из которых никогда еще не привлекало внимания специалистов, другое напечатано в малотиражном издании (Историко-литературные исследования. Иваново, 1973. С. 152–155), — часть обширной его переписки с Иваном Сергеевичем Аксаковым (1823–1886), всероссийски известным публицистом, авторитетным общественным деятелем, «хранителем» классического, отживавшего уже тогда свой век славянофильства. Эпистолярный диалог с Аксаковым, длившийся с перерывами почти десять лет, занимал в жизни Лескова особое место и развивался довольно бурно, пройдя и через подъемы — периоды интенсивного обмена письмами, жадного взаимного интереса, и через разрывы — долгие, иной раз томительные паузы. Одну из них — первую, самую длительную и, пожалуй, самую тяжелую для обоих — спровоцировало сентябрьское письмо Лескова 1875 года, которым открывается предлагаемая подборка. К тому времени корреспонденты уже почти год поддерживали знакомство, сначала заочное, затем закрепленное личной встречей, и были, казалось, если не полными единомышленниками, то людьми близкой ориентации.

Можно себе представить и недовольство, и разочарование Аксакова, когда он получил от Лескова письмо, ставящее под сомнение плод его многолетних усилий, более того — подрывающее самую суть аксаковских верований. Дело в том, что Лесков, только что побывавший за границей, в западных славянских землях, с нескрываемой усмешкой — как о неудавшейся афере — писал о православной церкви в Праге, созданной там на русские пожертвования усилиями Московского славянского комитета и прежде всего (Лесков не мог этого не знать) усилиями самого Аксакова, придававшего русской церкви в католической Праге исключительное значение — и для «внутренней истории самих чехов», и для сближения России с западными славянами (педатированное письмо Аксакова Н. А. Попову // ОР ГБЛ, ф. 239, карт. 4, ед. хр. 8, л. 8). Мало того, Лесков резко отзывался о чехах, с которыми Аксаков связывал особые надежды на славянскую солидарность. Неудивительно, что их переписка вскоре надолго прервалась: Аксаков, несомненно, был уязвлен не только рассуждениями Лескова, но и его лжесмирненным тоном: «<...> Вы в этом зваток, а я ничто <...>».

Второе письмо относится совсем к иной эпохе, когда панславистские надежды поблекли и уже не только в глазах Лескова выглядели иллюзиями, да еще и опасными, втянувшими Россию в неудачную русско-турецкую войну. Аксаков в то время принялся за издание собственного еженедельника, куда и пригласил Лескова сотрудничать, — пригласил именно потому, что для него всегда произведения Лескова сглаживали, если не искупали всё то, что было в их авторе чуждо Аксакову. «Что Вы и где Вы? — обращался он к Лескову осенью 1880 года. — Вы, конечно, знаете, что я приступаю к изданию еженедельной газеты „Русь“ и что в ней, между прочим, будет и литературный отдел. <...> Надобно, чтобы помещаемое в газете имело положительное достоинство. Поэтому я и обращаюсь к Вам» (Исторический вестник, 1916. № 3. С. 792). Последние две фразы, очевидно, особенно польстившие Лескову, он подчеркнул позднее красными чернилами и поставил на письме помету «80 <год> (начало сближения)» (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 193, л. 10). И действительно, это приглашение Аксакова стало прологом к новому в их отношениях и последнему этапу, ознаменованному довольно устойчивым, хотя и не исключавшим разногласий, единством печатных выступлений. Лесков на страницах «Исторического вестника» ссылаясь на передовые «Руси», солидаризируясь с Аксаковым; а тот, в свою очередь, печатая Лескова, сопровождал его произведения собственными, более чем сочувственными комментариями. Основой

для сближения служило консервативное, религиозно окрашенное пародничество, почвенничество в самом широком смысле, объединявшее в то время Аксакова с Ф. М. Достоевским, имя которого закономерно возникает в письмах Лескова к Аксакову и в лесковском очерке «Обнищеванцы», напечатанном в «Руси». И тем не менее альянс оказался непрочным. Лесков был писателем, абсолютно не способным держаться в рамках какого-либо кружка, литературного объединения, сообщества. Он не умел подчиниться диктату большинства и, не обладая качествами лидера, впадал в «сересь». Переписка с Аксаковым — прекрасная тому иллюстрация. Ждавший от славянофилов поддержки, демонстрировавший детальное знакомство с трудами А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, да и самого адресата, Лесков тем не менее не выдерживал тона — спорил, подмечал слабости, стоял на своем. В этом смысле показательны второе из публикуемых писем, где Лесков, защищая от критики свои «Мелочи архиерейской жизни», казавшиеся Аксакову грубоватыми («Я не очень жалую глумления», — замечал он), ни в чем не соглашался с оппонентом, ни в чем ему не уступил. Этот спор, поначалу выдержанный в миролюбивых тонах, очень скоро обострился и за два года до смерти Аксакова привел корреспондентов к разрыву — на этот раз окончательному.

8 сент<ября> <1>875 г. П. б. Фуршт<атская> № 62

Достойнейший Иван Сергеевич.

Без всяких фраз, я не знаю слов, какими мог бы высказать Вам свою благодарность за все Ваши обо мне заботы, столь теплые и столь нежные, что оценить их невозможно¹. Если я в жизнь мою был когда-нибудь добр и если за эту доброту в возмездие дапо мне отрадное чувство ощущать неопечительность доброй души, то я уже награжден и утешен: Вы мне дали прекрасные минуты, которых я никогда не забуду. Если из этого не вышло ничего иного, то и того довольно, что Вы так за меня порадовали: я тяну полосу тяжелую и давно отвык от всякого участия, а Вы мне напомнили даже то, чего я и совсем не знал. Так просить обо мне, как Вы просили, может только человек из Вашего благословенного семейства. Спасибо Вам ото всего сердца! Теперь далее не будем уже ничего делать, — надо сидеть у моря и ждать погоды; а еще того вернее ничего не ждать. Во всяком случае мне не удаются такие простые и ничтожные вещи, что я уже утратил и всякую смелость и всякую охоту заботиться о

себе. Да, по правде сказать, и надоело, и совестно докучать кому бы то ни было своею незадачливою особою. Всякие долги хлопоты утомительны, а я прежде всего не хотел бы надоесть людям, которых люблю и благорасположением которых очень дорожу. Письмо, адресованное Вами мне в Дрезден, я получил здесь три дня тому назад, на другой день получил новое письмо от Вас и письмо от Щебальского² из Варшавы. Последнее писано по желанию Менгдена³ и требует от меня решительного ответа: найду ли я для себя удобным место чиновника особых поручений при Коцебу⁴? (жалованье) 1500 р.). Второй день я думаю, что мне надо благодарить Менгдена за его заботливость; но на переход к Коцебу соглашаться не надо. Тысяча р(ублей) в Ученом комитете⁵ гораздо лучше, чем полторы в Варшаве, где мне с первого раза *все* не понравилось. Правда что там «Дневник»⁶ обещает работу, но тоже работу не милую, да и я в него плохо верю. Все, что Вы пишете мне об этой газете, я представлял ее новым антрепренером, но мой Петр Карлович сделался очень большим оптимистом и с ним не сговоришь. Притом же, он человек бедный и многосемейный, а потому... и пр. и пр. Вы пишете прекрасно, и мне было очень приятно читать, что Вы написали: «нет ни одной газеты не пошлой, или не подлой»; да, и еще долго и долго так будет. Покойный Морозкин говорил мне раз, что нашу Церковь *уже* не может исправить ничей *ум*, а для спасения ее нужен *подвиг веры*⁷. Также и с нашими правами и с нашим словом: оно может ожить только от какого-нибудь *дела*; а какое это будет дело,— то нам не ведомо. Хуже всего то, что с печатью в уровень развращаются и падают все идеалы во всем обществе. Нельзя не заметить, что пынче уже нет мечтателей, даже среди юношей, и растет племя понстине «новых людей»,— людей без молодости. Я помню пору ценозвальных увлечений, когда сближался с людьми довольно низко падшими, но они были чисты в своем падении: они сознавали его глубину и из нее с восторгом назирали тех, кто стоял над ними твердою ногою на скользкой круче. Я помню студентских подруг, швейных девочек, у которых идеал женщины был, однако, самый чистый; а ныне матери семейств бравируют кокетством и с цинизмом спрашивают: «к чему служат женщине ее добродетель?» И вправду: к чему у нас служат какие бы то ни было добродетели и превосходства? Вы говорите о том, что мог бы сделать «государственный ум» в Польше при пынешних довольно благоприятных токах и веяниях,— а я в ответ Вам на это хочу рассказать, до чего люди оношдели и что они стали у нас называть «государственным умом». Вы, может быть, знаете, что накануне своей хиротонии

Маркел Попель⁸ служил литургию с Исидором, его же славное служение мы позавчера отираздновали с громким звоном⁹. Накапуне сослужения Попеля ризничий явился к Исидору с вопросом: во что снарядить отца Маркела к выходу во стретение. Исидор велел надеть на него *клубук* и *архимандричью мантию*. Надели, и они не спали с его,— тем дело и кончилось; но церковные казуисты заговорили: как же это на мирянина, или вообще не на монаха надевать монашескую одежду? Находили в этом соблазн; но к юбилею открыли, что это устроил «государственный ум» Исидора, так как есть правило, что на кого раз в церкви надета ипоческая одежда, тот уже *инок*, а потому и от(ец) Маркел теперь *инок*,— значит и его подвели, и в Церкви русской опять нет епископа из белого духовенства. Некто собирался указать на это даже в застольной речи,— не знаю, сподобился ли он это исполнить. В Варшаве я стараюсь поверить сказания Мартынова об обращении холмских и в особенности седлецких унцатов¹⁰ и должен был сознаться, что парижский иезуит в своих отчетах правдивее многих других газетчиков: «кропило» было в сильном употреблении и я слышал это от самих *кропителей*. И все это сказывается с цинизмом ствратительным и невероятным. Теперь в одном полицейском округе Св. Кржыжа до 180 человек под надзором полиции и в числе их, всеконечно, своя доля «кропленных»... — Чего же от них ждать доброго, для Церкви, и для государства, и что я отвечал бы теперь отцу Мартынову? Право, и смех, и горе.— О чехах я с Вами не смею спорить: Вы в этом деле знаток, а я ничто; но Вы напрасно думаете, что я никого не видал в Праге: я ведь там был уже не в первый раз и много кое-кого знаю, а в том числе и Патеру¹¹. Мне эти люди не по сердцу: у них нет того, на чем может зиждиться панславизм: они гораздо удобнее для адорабельных¹² отношений Розенгейма¹³, Щебальского и других, чувствующих к ним «влеченье — род недуга»¹⁴; по пива с ними не сварить. Это, конечно, мое мнение, может быть, и очень ошибочное, но я никак не могу себе усвоить иного. Что там ни говорите, а они кичливы, медкодушны, жадны, мстительны и заносчивы до глупости: они все-таки хотят быть «главою» славянства и уверены, что это право им принадлежит в силу многих превосходств, целой половины которых незаметно простым глазом, не вооруженным усиленными пристрастиями. Самомнению же их нет меры и всякое слово отрезвления для них уже «уражка про целый чешский народ». И в «Жизни-то за царя» нет драмы; и таких-то композиторов, как Глинка у них «много»; и критики-то у них необыкновенные, а всей литературы семь фунтов, включая туда и ис-

торию Палацкого¹⁵. Нет; не с того конца это начинается: по-моему, не их возносить надо, а надо их образумить, и тогда только они могут отвечать здравым надеждам и упованиям славыпофильства. Потом, мне кажется, что Вы не совсем точно судите о их гуситстве¹⁶. Я не знаю: когда Вы были в Праге, и думаю, что новейшие их направления от Вас ускользнули, да и от М. П. Погодина¹⁷ тоже. Я же опускался во все их норы и трущобы, начиная с апартаментов пробоща¹⁸ Штульда, где видел всю «интеллигенцию», до пивных, где едят чешскую мерзость и обтирают губы бумажками. Нет у них никакого стремления к гуситству, и они даже хвалятся, что у них есть «свой Шварценберг»¹⁹, а почему он им свой? Потом: они выпяче поют дивную песню, что «слава Богу, что мы-де проиграли белогорскую²⁰ битву; а то мы бы облютеранились; а католичество с его латинскою службою спасло нас». По-моему, они гораздо более католики, чем принято думать у нас в России, и чем им более будут близки Шварденберг и Штульд, тем они дальше станут гнать от себя и без того позабытый гусизм. Потом, известно ли Вам, что они выпяче лепечут о необходимости «своей аристократии», в которую и готовы поверстать всех подходящих им по чему бы то ни было немцев? Учреждение «die Gruppe»²¹, граничащее с алтарем русской церкви, конечно, будет неизвестно, если говорить о церкви с отцом Лебедевым²² да с Патерой; но его знает всякий студент и всякий извозчик. Вы говорите, что Вы его не заметили; да как же Вы могли бы его заметить? А посоветуйте кому-нибудь пройти возле die Gruppe в 8 час(ов) вечера: — не заметит ли он там чего-нибудь? Я думаю, что заметит «заведение» по всей форме, с открытою нараспашь дверью, с освещенною лестницею и с гологрудными блудницами в окнах нижнего этажа, где помещается питейная лавка, состоящая при сем же самом «заведении». Не могу же я Вам говорить это наоболмашь! А бывают ли там бесчинства, бросающиеся в глаза,—я этого не знаю: я там был с тремя русскими и мы посидели и выпли; а видел я там и пьяных чехов, и пьяных немцев, и думаю, что, где есть развратные женщины и пьяные мужчины, там могут быть и всякие бесчинства. Да и наконец: что же это за место публичному дому у самой алтарной стены русского храма? Неужто не стоило этого знать и позаботиться, чтобы этого не было? Да впрочем, слово Ваше справедливо: все бы это ничего, если бы к р(усской) церкви было то влечение, какое Вы предполагаете; но дело в том, что его-то и нет. Чехи туда действительно забегают, но в таком же числе, как и немцы, и по тем же самым побуждениям: позвать и поглазеть. Я это наблюдал и самолично и беседовал с сторо-

жем, который на сей предмет дает справки более правдивые, чем от⟨ец⟩ Лебедев. Причет же наш действительно превосходный и в своем роде редкий: священник и дьякон не только не враждуют между собою, но даже очень дружны. О⟨тца⟩ Раевского²⁸ я понимаю во всю его суть, но в словах его тем не менее не могу не видеть значительной основательности. А впрочем, я очень желаю, чтобы во всем этом Вы были без ошибки.

Искренно благодарный Вам *Н. Лесков*

Примечания

1. Аксаков по просьбе Лескова хлопотал о ирискании для него службы в Варшаве.

2. *Петр Карлович Щербальский* (1810–1886), историк, публицист, корреспондент и приятель Лескова, служивший тогда в Варшаве. Ни его письмо, ни упоминаемые выше письма Аксакова до нас не дошли.

3. Барон *В. М. Менгден* (1826–1910), председатель Главной дирекции земского кредитного общества в Царстве Польском. Аксаков через третьих лиц просил его помочь Лескову устроиться в Варшаве.

4. То есть при Варшавском генерал-губернаторе, генерал-адъютанте, графе *П. Е. Коцебу* (1801–1884).

5. Лесков состоял членом Ученого комитета Министерства народного просвещения.

6. Речь идет о газете «Варшавский дневник».

7. Лесков часто цитировал эту фразу петербургского священника и церковного историка *М. Я. Морозкина* (1820–1870), с которым писатели, видимо, связывали дружеские отношения.

8. *М. Ф. Попель* (1825–1903), униатский священник, сторонник воссоединения униатов с православной церковью. 8 июля 1875 г. был рукоположен в епископы Люблинские (*хиротония* – посвящение, рукоположение), однако, вопреки сообщаемым далее в письме сведениям, монашества не принял.

9. Речь идет о праздновании 50-летнего юбилея служения в священном сане Исидора (в миру – *Я. С. Никольский*; 1799–1892), митрополита Новгородского и С.-Петербургского.

10. *И. М. Маргьнов* (ум. 1894), русский эмигрант, иезуит. Лесков познакомился с ним летом 1875 г. в Парняке. Его «сказания» касались насильственного присоединения униатов к православию.

11. *Адольф Чапера* (1836–1912) – чешский филолог.

12. *Адорабельные* — от французского «adorable» — достойный обожания, поклонения.

13. Скорее всего, имеется в виду *М. П. Розенгейм* (1820 — 1887), поэт, полковник; однако, о чем идет речь, — неясно.

14. Слова Репетилова, обращенные к Чацкому («Горе от ума», действие IV, явление 4).

15. «История народа чешского в Чехии и Моравии» (Прага, 1848—1876. Т. 1—5) чешского ученого *Франца* (Франтишека) *Палацкого* (1798—1876).

16. В гуситском движении Аксаков усматривал стремление чехов к сближению с православием.

17. *М. П. Погодин* (1800—1875), историк, журналист, ярчайший представитель панславизма, еще с 1830-х гг. завязал тесные контакты с чешской интеллигенцией. Очередной раз *М. П. Погодин* побывал в Праге летом 1875 г. — несколькими днями раньше Лескова.

18. *Пробоц* — католический священник или настоятель монастыря.

19. Речь идет либо о пражском архиепископе князе Фридрихе Шварценберге, либо — о министре иностранных дел Австрии князе Феликсе Шварценберге.

20. Сражение на Белой горе (1620 г.), окончательно определившее исход Чешского восстания (1618—20), после подавления которого католичество было объявлено в Чехии единственной призванной религией.

21. «die Brunnen» (нем.) — три фонтана.

22. *А. А. Лебедев* — священник православной церкви в Праге.

23. *М. Ф. Раевский* (1811—1884) — настоятель русской посольской церкви в Вене, член Московского славянского комитета, один из инициаторов создания православной церкви в Праге.

7 генв<аря> <18>81 г. С. п. б. Сергеевск: 56, 144

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

«Понял»¹. Во всем, что Вы пишете, как всегда, много прекрасных мыслей, честности взгляда, теплоты и вразумительности, но я не совсем с Вами согласен насчет «хихиканья». Есть разница и в «хихиканье». Хихикал Гоголь, хихикал Соловьевский и тоже же совершил несчастный Чернышевский, а мне противен только один последний. Почему так гадка и вредна в Ваших глазах тихая, но язвительная шутка, в которой «хихиканье» не скрывается

бесплабашным, а бережет идеал и даже выставляет его на вид, — этого я не понимаю. Более, — с этим я не согласен. Я пишу как умею и *всегда — как чувствую*. Я плохой христианин, но все-таки христианин, и молю Бога паче всего не отнять у меня этого состояния моей души. Я никогда не осмеивал «сана» духовного, но я рисовал его носителей здраво и реально, и в этом не числю за собою вины. Я не хочу быть «тенденциозным» — довольно сделано и без меня в этом роде. Если мне действительно дана некоторая способность рисовать духовных, как Островскому купцов, — зачем я не имею права служить моим даром литературе правдиво? Хорошо ли, дурно ли, — я с своими малыми силами дал несколько типов духовенства, которые считаются далеко не худшими, и не дал ни одной карикатуры. Сколько «идеальных» есть на все количество типичных, — я не разбираю и не считаю. Я пишу то, что ясно складывается и формируется у меня в голове. Марков правдивее всех заметил, что я, «рисую реально, всегда стараюсь найти частицу добра в описываемых лицах»². Это я действительно ищу, нахожу и отмечаю всегда с усиленным старанием, и духовенство русское это знает и ценит. Да, — ценит; — я имею тому множество доказательств, начиная с их привычки следить за мною по всем изданиям. Им вовсе не надо кадить, и я этого не могу, да и не умею. В одних «Мелочах арх(ирейской) ж(изни)» я погрешил (по неведению), представив архиереев, как писал мне один умный владыка, — «лучше, чем они есть на самом деле»³. Вы говорите «их надо дубьем»... А они дубья-то Вашего и не боятся, а от мозж шпилек морщатся... Отчего это? — много бы пришлось писать.

Оба рассказа, кот(орые) у меня были, в это время отнять: «Христа» Его же именем выпросила Татьяна Петровна, которой невозможно отказать было для ее 1-го № 81 года⁴. Он напечатан вчера. «Деорянский бунт Добрынинского прихода» мог бы быть дописан в 3—4 дня, но, во-1-х, — там есть поп добрый, но не со всеми добродетелями, а во-2-х — прочтите, сделайте милость, час тому назад полученное письмо Шубинского, которому я вчера писал, что не могу дать «Дворянского бунта»⁵. Что же я поделаю с этим положением? Я *должен* отдать ему, п(отому) ч(то) не могу быть причиною неудовольствий. Затем тотчас же стану думать, чтб написать Вам, сотканное из одного русского «прекраснодушия», с китайскою или строгановскою раскраскою — без теней. Это легче всего выудить не в духовенстве. Я сделаю все, что могу, но мучусь мыслию, что буду видеть не один тип, а два: мой вымысел и действительность в лице Вашем. От этого я буду путаться, как конь на мундштук, и напишу хуже, чем могу пи-

сать, когда ищут изобразить *одну правду*. «Талантов мало» — это так, но кто это устроил? — м(ожет) б(ыть), Вы, г.г. редакторы с Вашими идольскими совершенствами треб теории. Любя и почитая Вас безграциозно, не могу отказать себе и Вам сказать это.

Преданный Вам

Н. Лесков

За «Русь» благодарю и ее получаю. Нападок на пение литургии Чайковского не разделяю. Почему «литургия» и Бортнянский или Бахметев «сходятся», а Чайковский нет?!⁶

Примечания

1. Лесков отвечает на следующие строки из письма Аксакова, упрекавшего автора «Мелочей архиерейской жизни» в «хлпикашь»: «Архиерейскому сану подобает серьезная руготня и негодование, это его привилегия. Его в пужных случаях надо бить *дубьем*; а не угощать *щелчком*. Коли я его дубьем, а не щелчком, этим я его сам почитаю!! Поняли?» (Исторический вестник. 1916. № 3. С. 788).

2. Статью литературного критика Е. Л. Маркова (1835–1903) с подобной характеристикой Лескова не удалось обнаружить.

3. Позднее, делая запись в альбом Л. Б. Бертенсона, Лесков вложил эту фразу в уста графа Д. А. Толстого, обер-прокурора Синода и министра народного просвещения (Русская мысль. 1915. № 10. Отд. II. С. 95).

4. Рассказ «Христос в гостях у мужика», первоначально предложенный Аксакову, появился в журнале «Игрушечка» (1881. № 1), издававшемся Т. П. Пассек (1810–1889).

5. *С. П. Шубинскому* (1834–1913), редактору «Исторического вестника», Лесков и отдал в конечном итоге этот очерк, предназначавшийся для «Руси» Аксакова.

6. Речь идет о заметке «Духовный концерт в зале Российского Благородного собрания 18 декабря» (Русь. 1881. 8 января. № 8), где подвергалось критике концертное исполнение литургии П. И. Чайковского. В ответном письме Аксаков защищал автора заметки: «Чайковский хороший музыкант, по католик. Это бы ничего, но главное — аплодисменты и зальная обстановка для обедни...» (Исторический вестник. 1916. № 3. С. 793). Д. С. Бортнянский (1751–1825) и П. И. Бахметев (1807–1891) — композиторы, авторы духовной музыки.

Публикация и примечания О. Е. Майоровой



Эссеистика Вяч. Иванова



Предлагаемая читательскому вниманию статья выдающегося русского поэта XX века, теоретика символизма и философа Вячеслава Ивановича Иванова (1866—1949) была впервые напечатана в 1918 году в книге «Из глубины. Сборник статей о русской революции». Название было предложено одним из участников сборника философом С. Л. Франком, поместившим свою статью под таким же заглавием. «De profundis» — начальные слова католической молитвы, произносимые осужденными грешниками: *De profundis clamavi at te, Domine!* — Из глубины воззвах к Тебе, Господи!

Любопытна судьба этого издания. Идея сборника принадлежала видному литературному критику М. О. Гершензону. Книга была содрана осенью 1918 года, приостановлена к выпуску цензурой и, пролежав в типографии Кушнарёва три года, в 1921 году была самовольно пущена рабочими в продажу, а затем конфискована. Таким образом, не попав в книжные магазины, сборник разошелся по рукам, был изъят, и долгое время считался утраченным.

«В начале 30-х годов,— пишет С. Л. Франк,— я рассказал о нем моему приятелю, профессору русской литературы Амстердамского университета Бруно Борисовичу Беккеру. Заинтересовавшись им, он сделал попытку выписать его из Москвы, через советское книжное агентство „Книга“, и действительно его получил» (Франк С. Л. Биография П. В. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 121). Эта парадоксальная пророческая книга нашла своего читателя

через 49 лет, когда в Париже в 1967 году она была вновь издана. Авторы сборника — ученые, политики, литераторы (отчасти — старые авторы знаменитых сборников «Проблемы идеализма», СПб., 1902 и «Вехи», СПб., 1909) — Н. А. Бердяев, С. П. Булгаков, А. С. Изгоев, Н. Б. Струве, С. А. Аскольдов и др.

Пафос сборника — призыв к сохранению культурных ценностей, предостережение от их разрушения в условиях свершившейся революции, оказавшейся для части русской интеллигенции духовной катастрофой. Авторы попытались исследовать смысл и истоки русской революции, участие в ней интеллигенции и народа, роль церкви. В этом смысле статья Вяч. Иванова, посвященная судьбам родного слова в связи с реформой орфографии, влиянием газетного языка и «уличной» речи, кажется стоящей особняком. Однако это не совсем так. Для русской интеллигенции язык всегда представлялся одним из феноменов духовной культуры и умственного движения общества, и потому проблемы его развились на фоне совершающихся событий приобрели особенно болезненный характер. «Вы посмотрите, во что наш язык превращается, с новой орфографией этой мерзкой, измышлением нигилизма — тоже кадетский подарок! — да с жаргоном этим тосарищеским с разными словами их футуристическими», — писал С. П. Булгаков (С. П. Булгаков. На пиру богов // Из глубины. Париж, 1967. С. 152).

Отсюда и резкие нападки на реформу правописания, искажающую внешний, закреплённый облик слова.

Вяч. Иванов воспел изгнанный ъ:

Аз и Есмь — лучи креста,
Аз — прямым коньём означен.
Поперечная черта
Есмь гласит. Алмаз прозрачен.

По мнению некоторых представителей эмиграции, буква «ять» была изъята и по соображениям, якобы, чисто политическим, ибо символизировала крест и державу — эмблемы старой России.

Защищая написание ъ в конце слов, Вяч. Иванов мотивировал это необходимостью паузы между словами, перегруженными согласными.

Издавая в 1923 году в Баку свою книгу «Дионис и прадионисийство», Вяч. Иванов настоял на сохранении Ѡ для слов греческого происхождения. Сам греческий шрифт воспроизвести не удалось: он был заменен латинской транскрипцией.

Со временем позиция Вяч. Иванова претерпела известные изменения. Так, составителям своего сборника «Свет Вечерний», издаваемого в Оксфорде, он разрешил набирать текст по новой ор-

фографии с редкими исключениями (например, «к чему» в значении «зачем» набиралось слитно).

Статья Вяч. Иванова «Наш язык» после 1967 года переиздавалась еще дважды: в Собрании сочинений, выпускаемых в Брюсселе под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт (т. IV, 1987) и в сборнике: Вяч. Иванов. Эссе, статьи, переводы (Paris, 1985). Ей предшествовала еще одна малоизвестная публикация, связанная с проектом реформы русского правописания в начале XX века. В 1905 году в рецензии на брошюру арх. Методия (Великанова) «К вопросу о реформе русского правописания» (СПб., 1905), напечатанной в журнале «Вопросы жизни» (1905. № 9), Вяч. Иванов противопоставил сторонникам радикальных изменений в орфографии принципиальные возражения «из лагеря охранителей».

«Прекрасный язык наш,— писал он,— давно уже переживает болезненный процесс, и страшно — как бы не изнемог. Народная речь портится и теряет свою мощь и свои краски. Могут быть спорадически наследены в ней подлинные патологические явления. Остатки старого народного творчества приходят в забвение. Жаргон газетной и иной эфемерной письменности продолжает свое разрушительное дело. Обиходный язык образованных классов становится все расчетливее от бедности, все условнее и суше от разобщенности с корнями, из коих вырос. Все труднее становится нам даже только понимать русский язык, поскольку он простирается дальше за изгородь отведенного для современной „культуры“ загона... А оскудение языка — оскудение души народной. Пусть же поможет народной душе, в меру своих малых сил, хоть училищное корнесловие (об руку с изучением памятников народного слова и церковных текстов) — и, главное, дух любви к родному языку и всем его мышцам и тканям в нашей обезьязыченной школе!» (Вопросы жизни. С. 255).

Отрицательно оценивая состояние современного литературного языка, Вяч. Иванов особо останавливается на орфографической реформе. Его возражения против новшеств, искажающих «историческую призму языка», сводятся к следующему: «Односторонне-фонетическая перестройка в ш е й орфографии затускнит наш язык. Она же отдалит нас от нашего прошлого и отъединит от живого славянства, которое не слышит нашу речь, а видит ее.

⟨...⟩ Опасность, грозящая на этом пути, есть графическая аморфность, или бесформенность, которая не только вследствие ослабления иероглифического элемента неприятна эстетически и психологически противоестественна, но может способствовать и общей анемии языка» (Там же).

Эти рассуждения, как известно, были продолжены в статье «Наш язык», в которой снова будет сказано о «практическом провинциализме» реформы, отрицательно оценена секуляризация правописания (Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. IV. С. 787).

Статья «Наш язык» написана торжественно и тяжеловесно. Это не стилизация, идущая от соотнесенности со временем, а способ мышления, присущий всему творчеству Вячеслава Иванова.

Утонченнейший стилист, глубокомысленный философ и филолог, Вяч. Иванов исполнял свой нравственный долг в служении духовной культуре, традиции и вечной красоте. «Есть внутреннему опыту словесное знаменование, и он ищет его, и без него тоскует, ибо от избытка сердца глаголят уста» (Вяч. Иванов – М. О. Гершензону // Переписка из двух углов. Пб., 1921. С. 12).

Л. М. Грановская,
доктор филологических наук

Баку



НАШ ЯЗЫК

«Духовно существует Россия... Она задумана в мысли Божией. Разрушить замысел Божий не в силах злой человеческий произвол» (Слова Н. А. Бердяева — *прим. авт.*). Так писал недавно один из тех патриотов, коих, очевидно, только вера в хитон цельный, одноканный, о котором можно метать жребий, по которому поделить нельзя, спасает от отчаяния при виде раздраженной ризы отечества (Ср. Евангелие от Иоанна, XIX, 23–24 — *прим. авт.*) ...Нарочито свидетельствует о правде вышеприведенных слов наш язык.

I.

Язык, по глубокомысленному воззрению Вильгельма Гумбольдта, есть одновременно дело и действенная сила (ἔργον и ἐνέργεια); соборная среда, совокупно всеми непрестанно творимая и вместе предваряющая и обуславливающая всякое творческое действие в самой колыбели его замысла; антиномическое совмещение необходимости и свободы, божественного и человеческого; создание духа народного и Божий народу дар. Язык, по Гумбольдту, — дар, доставшийся народу, как жребий, как некое предзнаменование его грядущего духовного бытия.

Велик и прекрасен дар, уготованный Провидением народу нашему в его языке. Достойны удивления богатство этого языка, его гибкость, величавость, благозвучие, его звуковая и ритмическая пластика, его прямая, многоместительная, меткая, мощная краткость и художественная выразительность, его свобода в сочетании и расположении слов, его многострунность в ладе и строе речи, отражающей неуловимые оттенки душевности. Не менее, чем формы целостного организма, достойны удивления ткани, его образующие, — присущие самому словесному составу свойства и особенности, каковы: стройность и выпуклость морфологического

сложения, прозрачность первозданных корней, обилие и тонкость суффиксов и приставок, древнее роскошество флексий, различие видов глагола, неведомая другим живым языкам энергия глагольного аориста.

Но всего этого мало! Язык, стяжавший столь благодатный удел при самом рождении, был вторично облагодатствован в своем младенчестве таинственным крещением в животворящих струях языка церковнославянского. Они частично претворили его плоть и духотворно преобразили его душу, его «внутреннюю форму». И вот, он уже не просто дар Божий нам, но как бы дар Божий сугубо и вдвойне, — преисполненный и приумноженный. Церковнославянская речь стала под перстами боговдохновенных ваятелей души славянской, свв. Кирилла и Мефодия, живым слепком «божественной эллинской речи», образ и подобие которой внедрили в свое изваяние приснопамятные Просветители.

Вонстину теургическим представляется их непостижимое дело, ибо видим на нем, как сама стихия славянского слова самопроизвольно и любовно раскрывалась навстречу оплодотворяющему ее наитию, свободно поддавалась налагаемым на нее высшим и духовнейшим формам, отклоняя некоторые из них, как себе чуждые, и порождая взамен из себя самой требуемые соответствия, не утрачивая ни своей лексической чистоты, ни самородных особенностей своего изначального склада, но обретая в счастливом и благословенном браке с эллинским словом свое внутреннее свершение и полноту жизненных сил, вместе с даром исторического духовного чадородия.

II.

Вследствие раннего усвоения многочисленных влияний и отложений церковнославянской речи, наш язык является ныне единственным из новых языков по глубине впечатления в его самостоятельной и беспримесной пламенной стихии — духа, образа, строя словес эллинских, эллинской «грамоты». Через него невидимо сопричастны мы самой древности: не запределена и внеположна нашему народному гению, но внутренне соприродна ему мысль и красота эллинские; уже не варвары мы, поскольку владем собственным словом и в нем преемством православного предания, оно же для нас — предание эллиства.

И как преизбыточно многообразен всеобъемлющий, «иконический», «кафолический» язык эллиства, так же всееленским и всечеловеческим в духе становится и наш язык, так же приобретает он способность сочетать ясность с глубиной, предметную беззательность с тончайшей, искрящейся духовностью —

В мистической купаюсь мгле..
И здраво мыслить о земле.

Такому языку естественно было как бы выступать из своих широких, правда, но все же исторически замкнутых берегов, в смутном искании всемирного простора. В нем заложена была распространительная и собирательная воля; он был знаменован знаком сверхнационального, синтетического, всеобъединяющего назначения. Ничто славянское ему не чуждо: он положен среди языков славянских, как некое средоточное вместилище, открытое всему, что составляет родовое наследие великого племени.

С таким языком легко и самопроизвольно росла русская держава, отмечая постепенно достигаемую ею меру своего органического роста возжением на окраинах царства символических храмовых созвездий. С таким языком народ наш не мог не исполниться верою в ожидающее его религиозное вселенское дело.

Как Шопенгауэру казалось, что истинный стих от века предопределен и зачат в стихии языка, так — шнётся — искони посылы в ней и всякое гениальное умозрение, отличительное для характера нации, и всякая имеющая процвести в ней святость. И Пушкин, и св. Сергей Радонежский обретают не только формы своего внутреннего опыта, но и первые тайные позывы к предстоящему им подвигу под живым увесом родного «словесного древа», питающего свои корни в Матери-Земле, а вершину возносящего в тонкий эфир софийской голубизны.

III.

Что же мы видим ныне, в эти дни буйственной слякоты, одержимости и беспамятства?

Язык наш свят: его кощунственно оскверняют богомерзким бесивом — неимоверными, бессмысленными, безликими словообразованиями, почти лишь звучащими, стоящими на границе членораздельной речи, понятными только как переключка сообщников, как разинское «сарынь на кичку». Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить, свести к насущному, полезному, механически-целесообразному; уже давно его забывают и растеривают — и на добрую половину перезабыли и порастеряли. Язык наш свободен: его осконяют и укрощают; чужеземною муштрой ломают его природную осанку, уродуют костюм. Вельчав и ширококрыл язык наш: как старательно подстригают ему крылья, как шарахаются в сторону от каждого вольного взмаха его памятливых крыл!

В обиходе образованных слов общества уже давно язык наш растратил то исконное свое достоинство, которое Потебня назы-

вал «внутреннюю форму слова». Она сохлась в слове, опустошенном в ядре своем, как стнивший орех, обратившемся в условный меповой знак, обеспеченный наличным запасом понятий. Орудие потребностей повседневного обмена понятиями и словесности обыденной, язык наших грамотеев уже не живая дубрава пародной речи, а свинцовый набор печатника.

Чувствование языка в категории орудийности составляет психологическую подоснову и пресловутой орфографической реформы.

IV.

Язык наш запечатлевается в благолепных письменах: измышляют новое, на вид упрощенное, на деле же более затруднительное, — ибо менее отчетливое, как стертая монета, — правописание, которым нарушается преемственно сложившаяся соразмерность и законченность его начертательных форм, отражающая верным зеркалом его морфологическое строение. Но чувство формы нам претит: разнообразие форм противно началу все изглаживающего равенства. А преемственностью может ли дорожить умоастроение, почитающее единственным мерилом действительной мощи — ненависть, первым условием творчества — разрыв?

Божественные слова: «Суббота для Человека, а не Человек для Субботы», — мы толкуем рабски, не по-Божьи и не по-людски: если бы эти слова отнимали у Человека Субботу, умален был бы ими лик Человека; но они, напротив, впервые даруют Человеку Субботу Господню, и только в своем божественном лике Человек возвышается и над Субботою. Так всякое духовное послушание преобразуется в духовную власть. Закон правых отношений в великом — верен себе и в малом: чем больше уставности, тем меньше разрушительного произвола и насильственной принудительности.

Нелено исходить из предположения, что какая-либо данность, подлежащая школьному усвоению, может изменяться в зависимости от условий этого усвоения или должна к ним приспособляться: данность гетерономна школе, но последняя вольна определить свое отношение к данности, найти меру ответственного ее целям усвоения. Образно говоря, полное практическое овладение орфографией языка потребно одним типографским корректорам, как мастерство каллиграфическое — дело краснописцев; но то и другое искусства суть ценности сами по себе. Нелена и мысль, что наилучшею в рассуждении грамотности школою была бы школа, вовсе избавленная от всякой заботы о правописании. Ибо правописание (разумеется, правильно преподаваемое) есть

средство к более глубокому познанию языка, начало его осознания путем рефлексии и побуждение к художественному любованию красотой. Изучение уставов правописания может быть в некотором смысле уподоблено занятиям анатомиею в мастерских ваяния или живописи. Следовательно, оно же и воспитательно, если одною из задач воспитания должно быть признано развитие патриотизма.

Что до эстетики, элементарное музыкальное чувство предписывает, например, сохранение твердого знака, для означивания иррационального полугласного звучания, подобного обертону или кратчайшей паузе, в словах нашего языка, ищущих лапидарной замкнутости, переплавленных согласными звуками, часто даже кончающихся целыми гнездами согласных и потому нуждающихся в опоре немой полугласной буквы, коей несомненно принадлежит и такая фонетическая значимость. Вообще, выносить приговоры о фонетическом состоянии живой народной речи (например, отрицать звуковое различие между е и ъ) правомерно было бы лишь на основании строжайших и непременно повсеместных исследований такового при помощи чувствительных приборов, автоматически изображающих тончайшие его особенности в отличия.

С точки же зрения интересов культуры, которая по своему существу своему признаку, должна быть понимаема, прежде всего, как предание и преемство, насколько желательно усовершенствование правописания (наприм., восстановление начертания «время»), настолько опасны притязания предопределить направление преобразований, подчинив их какой-либо (утилитарной или иной) тенденции. Представим себе только, какие последствия для духовной жизни всего человечества повлекло бы за собою изменение эллинского правописания в период византийский, письменное закрепление воспреобладавшего в эту пору фонетизма (а именно, йотаизма): ключ, открывающий нам доступ в сокровищницы древности, надолго, если не навсегда, был бы утерян, и, быть может, только новейшие успехи эпиграфики позволили бы кое-как лазить в потемках потайные ходы в заколдованную округу священных развалин. А фонетическая транскрипция современного английского говора сделала бы говорящих по-английски негров — в принципе, по крайней мере — полноправными преемниками и посетителями британского имени.

V.

Язык наш неразрывно сросся с глаголами церкви: мы хотели бы его обмирщить. Подобным же образом кустари цоуеншей ук-

рапской словесности хватают пригоршнями польские слова, лишь бы вытеснить и искоренить речения церковнославянские из преобразуемого ими в самостийную мольвь наречия. Наши языковеды, конечно, вправе гордиться успешным решением чисто научной задачи, заключаившейся в выделении исконно русских составных частей нашего двуипостасного языка; но теоретическое различение элементов русских и церковнославянских отнюдь не оправдывает произвольных новшеств, будто бы «в русском духе», и общего увлечения практическим провинциализмом, каким должно быть признано вождеделение сузить великое вместилище нашей вселенской славы, обрусить — смешно сказать! — живую русскую речь. Им самим слишком ведомо, что, пока звучит она, будут звучать в ней родным, неотъемлемо-присущим ей звуком и когда-то нанетые над ее колыбелью далекие слова, как «рождение» и «воскресение», «власть» и «слава», «блаженство» и «сладость», «благодарность» и «надежда»...

Нет, не может быть обмирщен в глубинах своих русский язык! И довольно народу, немощствующему про свое и лопочущему только что разобранным по складам чужое, довольно ему заговорить по-своему, но-русски, чтобы вспомнить и Мать Сыру-Землю с ее глубинною правдой, и Бога в вышних с Его законом.



Раздел ведут А. Крылов и Вл. Шовиков



Владимир Туриянский

Поэт родился 21 августа 1935 года в Москве в семье экономиста-производственника, члена партии с 1916 года, репрессированного в 37-м и погибшего в лагере под Интой. Двухлетний «член семьи изменника родины» Владимир Туриянский вместе с матерью, сестрой и брагом был сослан в Казахстан. С 1946 года — Струнино — 101-й километр Московской области, десятилетка, служба в армии. После реабилитации отца поступил в Московский институт культуры, но, проучившись два года, бросил его. Работа в различных экспедициях стала его профессией. С 1973 года он — наладчик аппаратуры в Специальной региональной геофизической экспедиции.

В начале 60-х Туриянский познакомился с Ю. Визбором, Б. Левиным, А. Якушевой, октету которой аккомпанировал около двух лет. А свою первую песню он написал еще в 1959 году на стихи Б. Стругацкого. Сейчас им написано более 200 песен, в основном на свои стихи. Владимир Туриянский — лирик, мастер «грустного юмора». Активно ездит по стране с концертами, член жюри многих фестивалей авторской песни.



Нелояльный мари

А вся страна расцвечена
И флагами волнуется,
Давно уж люди верные
Назначены кричать:
«Да здравствует правительство!
И будь здорова, партия,
И наша власть советская,—
Качать ее, качать!»

И минимум повысится,
И максимум понизится,
И все-то будет здорово,
Совсем как у Фурье.
Наверно, будет вскорости
Большое облегчение,
И яйца будут дешевы —
Почти как при царе.

Кричат «Ура!» колхозники,
Кричат «Салют!» рабочие,—
Одни интеллигентики
Престую водку нюют,
Сидят себе тихоохонько
На дачах и по комнатам,
Ругаются нематерно
И песенки поют:

Что «вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой!»

1962

Воспоминание о реке Яне

Пристанище гусей, окраины России,—
 На полдень, на закат, на полночь, на восход —
 Куда ни бросишь взгляд,— забытые кресты и
 Бегущая вода да серый небосвод.

Страпа чудных людей, живущих просто где-то,
 Людей, что говорят как птицы на ветру,—
 На этом языке не существует лета
 И нет для чужака простого слова «друг».

Снега, снега, снега летят на желтый ягель,
 Осенняя пурга нам песенку споет,
 И заметет пурга заброшенный концлагерь,
 И улетит на юг последний самолет.

Пристанище гусей, окраины России,—
 На полдень, на закат, на полночь, на восход —
 Куда ни бросишь взгляд,— забытые кресты и
 Бегущая вода да серый небосвод.

1972

* * *

Накрапывал осенний дождичек,
 Тихонечко долбил висок
 И резал, словно финский пожичек,
 Офорт в окне панскосок,
 Мердал серебряными спицами,
 Шуршал в листве, пугался вдруг,
 А осень мокрыми жар-птицами
 На юг брела от зимних выюг.
 И наплывала беспричинная
 Моя российская тоска
 Про жизнь, что как дорога длинная
 Да в поле лет ни оговька.
 Куда пойдешь? Кому расскажешь,
 Что надоело быть травой?
 ...И все не так, и не докажешь,
 И надо быть самим собой.
 А осень флагом карантинным
 Туманит и наводит грусть,
 Дымок струится никотиновый
 Над старым ромом «Санта Крус».
 И там, в хрустальной мгле бокала,
 Сквозь огонек свечи в вине,
 Фрегат смоленый от причала
 Взлетит на кружевной волне.
 ...Накрапывал осенний дождичек,
 Тихонечко долбил висок
 И резал, словно финский пожичек,
 Офорт в окне панскосок.

Вийск, 1989

Творчество Владимира Туриянского располагает к раздумьям о сибирских мотивах в русской песенной традиции. Грустная, порой заунывная интонация Туриянского явно переключается со старинными песнями об Александровском центральном и о бродяге, пускающемся в путь по Байкалу, с фольклором колымским и магаданским. Вчитаемся в текст одной из публикуемых нами песен:

И наплывала беспричинная
Моя российская тоска
Про жизнь, что как дорога длинная <...>

Непривычное сочетание — «тоска про жизнь». Оно оправдано тем, что слово *тоска* выступает здесь как бы синонимом слова *песня*. Да, русская, и в особенности сибирская, песня — это прежде всего тоска. Такова жизненная правда, и сегодня любому из нас покажутся бессмысленно-дикими некогда популярные бодряческие неспования о крае, в который «только самолетом можно долететь», где все напропалую веселятся, поют и танцуют, летя «навстречу утренней заре по Ангаре». Настоящая Сибирь — в строках Жигулина и Шаламова, Галича и Высоцкого. И Туриянского:

Мы мокнем в тайге за рекой Алгомой
На так называемой съёмке.
Вторую неделю над мокрой тайгой
Сплошные потемки.
Долбит и долбит над моей головой —
Мозги отсырели.
Дожди и дожди над рекой Алгомой
Вторую неделю.

200-тысячная съёмка

Туриянский не приемлет малейшей романтизации описываемой им «натуры», предпочитая язык простой, прямой и точный.

Вслушиваемся в песню «Воспоминание о реке Яне», обратив внимание на третью ее строфу. Два рифмующихся слова отчетливо выдвинуты и смысловое, и интонационно: *концлагерь* стал для этого края такой же неотделимой частью, как его растительный мир, как желтый *ясель*. Вообще у Туриянского природа не контрастирует с жесткой социальной жизнью, а словно подчиняется ее законам: «Природа здесь давно уже с приветом». Или: «На этом языке не существует лета».

Даже в шутках Туриянского больше едкой аналитичности, чем веселья:

Кругом одни спортсмены и нацмены,
Не пить пельзья, а то сойдешь с ума,
Сюда доходят долго перемены —
Яна, Индигирка, Колыма.

«О чем шумите вы...»

Что же помогает преодолеть отчаяние, не сдаться подступающему чувству безысходности? Пробивающийся порою мотив нечаянной радости, звучащий у Туриянского в редких, но неожиданных и пронзительных метафорах: дождичек, режущий в окне офорт, шепот пожелтевшей листвы... Или вот такой образ:

И чайка анонимною запиской
Взлетит ко мне с зеленого мыска.

На острове, в виду Самары

Особо следует сказать о повышенной «интертекстуальности» песен Туриянского, то есть широко представленных у него элементах пародийности, цитатности, стилизации. В «Нелюбимом марше», например, остроумно использована ритмика Некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

Туриянский щедро цитирует и классиков («О чем шумите вы, народные витии... Вы побывайте в Восточной Якутии...») и современников — товарищей по жанру авторской песни, переключаясь с Визбором, Анчаровым, Кимом, Высоцким. Такая диалогическая цитатность весьма характерна для молодой новаторской поэзии наших дней (А. Еременко, И. Иртенев, Т. Кабилов). С культурно-исторической точки зрения нелишне вспомнить, что интенсивная «интертекстуальность» вырелась с давних пор в русле авторской песни, стремившейся творчески «взяться за руки» и протянуть руку классической традиции.

РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКОВОГО РАСШИРЕНИЯ

СОСТАВИЛ А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

В*

- ВЗГАЛЬНЫЙ (*Змт*)
 ВЗГАРКНУТЬ *на кого*
 ВЗГАРНЫЙ, ВЗГАРЧИВЫЙ — легко воспламеняющийся; горячий
 ВЗГАРЧИВОСТЬ
 ВЗГАТИТЬ плотину — поднять, гатя
 у него и ВЗГЛЯДКА воровская
 ВЗГЛЯДНАЯ вещь — казистая, красивая
 ВЗГЛЯДЧИВЫЙ поклонник
 ВЗГЛЯНУВШИЕСЯ, они поняли друг друга
 ВЗГНЕВИТЬ *кого*
 ВЗГНЕВАТЬСЯ *на кого*
 ВЗГНЕЗДИТЬСЯ *куда* — взместиться гнездом высоко
 ВЗГНЕСТИ огня — раздуть из жару
 вода ВЗГНЕТАЕТСЯ насосом
- ВЗГОВОРИТЬ *что на кого* — обвинить, оклеветать
 ВЗГОДА, ВЗГОДЬЕ *чьё* — милость, доброе расположение
 ВЗГОЛОВЬЕ, ВОЗГОЛОВЬЕ, ВЗГОЛОВОК, ВОЗГОЛОВЬ — изголовье (и примост его)
 ВЗГЛАВЬЕ, ВОЗГЛАВЬЕ бабы ВЗГОЛАШИВАЮТ по покойнику
 ВЗГОМОЗИТЬСЯ — всхлопотаться, расшуметься
 ВЗГОМОНИТЬСЯ
 ВЗГОН голубей (и сама стая) (*Шм*)
 ВЗГОНЧИВОЕ вещество — летучее
 ВЗГОНАТЬ птичий выводок
 ВЗГОРЕЛОСЬ сердце
 ВЗГОРЬЕ обширнее ВЗЛОБКА
 ВЗГРЕБЛИ выше по реке

* Окончание. Начало см.: Русская речь. 1990. №№ 3-6.

ВЗГРЕМЕТЬ (*в част. взгреть оружием*)
 ВЗГРОМКА *кому* — острастка, гонка
 ВЗГРОЗИТЬСЯ *на кого*
 ВЗГРОМОЗД, ВЗГРОМОЗДКА — дй. по глг.
 ВЗГРУДИТЬ *что* — сложить в грудь
 ВЗГРЫЗТЬСЯ *на кого* — напасть бранью, упрёками
 ВЗДАТЬ, ВЗДАНУТЬ *пару в баньке*
 ВЗДВИГ, ВЗДВИЖКА — дй. по глг.
 ВЗДВИГ *всех чувств (Рмэ)*
 ВЗДВИЖЕНЬЕ креста Господня
 ВЗДЕТЬ чехлы на кресла
 ВЗДЕТЬ грибы на нитку — напзать
 ВЗДЁВКА, ВЗДЁВ — дй. по глг.
 ВЗДЁВКА, ВЗДЁРЖКА — продавая тесьма
 ВЗДЕШЕВЕТЬ — сильно пошеветь
 ВЗДИВОВАТЬ *кого*
 ВЗДИВОВАТЬСЯ *на что*
 ВЗДОРОЖИТЬ товар
 ВЗДОРОЖАЛЫЙ
 ВЗДОРЫ — *мл.* ссоры, брань, споры
 ВЗДОРЛИВЫЙ, ВЗДОРЧИВЫЙ — *в част. бранчивый*
 ВЗДОРЛИВЫЙ человек затевает ВЗДОРНЫЕ дела
 ВЗДОРНИЧАТЬ, ВЗДОРИТЬ *с кем*
 ВЗДРОЖЛИВЫЙ
 ВЗДУРАЧИТЬСЯ
 ВЗДУРИТЬСЯ, ВЗДУРЕТЬ
 ВЗДУРИТЬСЯ *на кого* — вскипуться сдуру

ВЗДУРЧИВЫЙ — бестолковый, вспыльчивый
 ВЗДЫБЕТЬ — вздыбиться
 ВЗДЫБ, ВЗДЫБКА — дй. по глг. экой ты ВЗДЫБЧИВЫЙ — ●
 ВЗДЫБЕЛИ, ВЗДЫБЕЛИ *волосы от ужаса*
 ВЗДЫМАТЬ, ВЗНЯТЬ — поднимать, подносить вверх
 ВЗДЫМАТЬСЯ — 1. всходить наверх; 2. становиться дыбом; 3. пухнуть, вздуваться
 на эту гору не ВЗДЫМЕШЬСЯ
 ВЗДЫМ *м.* — 1. вздымка, дй. по глг.; 2. пологий подъём
 не тащи ВОЛОКОМ, бери НА ВЗДЫМ
 он этого НАВЗДЫМ *ич.* не любит
 ехали с версту ВЗДЫМОМ
 ВЗДЫМНЫЙ — подъёмный
 ВЗДЫМЧИВОЕ тесто, хлеб, конь
 ВЗДЫМЕТЬ — вздыматься
 по ком ВЗДЫХАЕТСЯ?
 ВЗДЫХ, ВЗДЫШКА — 1. первая половина вдоха; 2. отдышка, передышка
 РОДНИКИ ВЗДОХНУЛИ — освободился ото льда
 ВЗДОХИ МОРЯ — *арх.* с прилива на отлив и *пртв.*
 ВЗДОШЬЕ — подвздошь
 ВЗДОШЬ — диафрагма
 ВЗДЮЖЕТЬ — окрепнуть
 ВЗЛАЗ — 1. дй. по глг.; 2. восход, лестница
 ВЗЛАЙКА — *в част.* брань
 ВЗЛЕЧЬ *на перила*
 ВЗЛОВИЛА собака муху
 ВЗЛОЖИТЬ *на кого, на что*
 ВЗЛОЖИТЬ *на плечи*
 ВЗЛЕЩЕТАТЬ
 ВЗЛЕСОК — прилесок, подлесок

что-то куры **ВЗЛЕТАЛИСЬ**
у каждой птицы своя **ВЗЛЁТКА**,
ВЗМАШКА
ВЗЛЁТЧИВЫЙ
ГНЕЗДАРЬ — **ПОРШОК** — **ВЗЛЕ-**
ТОК — **СЛЕТОК** (стадни раз-
вития птенца)
ВЗЛИЗАЮЩАЯ причёска
ВЗЛИХОВАТЬСЯ *на кого* — озло-
биться и мстить
ВЗЛЮБОК — невысокое общее
возвышение местности близ
спуска
ВЗЛОМИТЬ (в один приём),
ВЗЛОМАТЬ (длительно)
ВЗЛОМЧИВЫЙ лёд
ВЗЛЫГАТЬ, **ВЗОЛГАТЬ** *что на*
кого
ВЗЛЫСИНА (со лба кверху)
ВЗЛЫСЫЙ мужчина
ВЗЛЫСИТЬ мех — погладить
против шерсти, приподняв
ВЗЛЮБИЛОСЬ мне *что*
чем он тебе **ВЗНОВОВАЛСЯ?**
ВЗЛЯГИВАТЬ — лягать иногда
понемногу
ВЗМАНИТЬ *кого к чему*
ВЗМАНИЛ его за это дело и
покинул
ВЗМАНИЧИВЫЙ — соблазнитель-
ный, привлекательный
ВЗМАХНУЛСЯ флаг
ВЗМАШКА — взмах, подъём в
один приём
ВЗМАХОМ *нич.* поднялась со
скамьи и убежала
ВЗМАЯТЬ *кого* — утомить, во-
гнать в ног
что-то **ВЗМАЯЧИВАЛО** по гори-
зенту
рыба **ВЗМЕТЫВАЕТСЯ** из воды
ВЗМЁТ — 1. взмётка, дй. по
слу; 2. сам взмётанный пред-

мет, вещество
ВЗМЁТЧИВЫЙ — вспыльчивый
ВЗМЁТНАЯ моветка (для жре-
бии)
ВЗМЁТЧИК
ВЗМИЛИТЬСЯ *кому* — сильно
понравиться
ВЗМИЛОВАТЬ *кого* — начать
миловать, любить
от **ВЗМОКА** рубашка на спине
мокрая
ВЗМОЛВИТЬ *что на кого* — взго-
ворить, взвести, взнести ☉
ВЗМОЛОДЕТЬ, **ВЗМОЛОДИТЬ-**
СЯ
женитьба **ВЗМОЛОДИЛА** его
ВЗМОЛОЖАВЕТЬ
ВЗМОСТ, **ВЗМОСТКА** — дй. по
ггг. замащиваться
ВЗМУЧАТЬ, **ВЗМУТНИТЬ** — де-
лать мутным
ВЗМУЩАТЬ, **ВЗМУТИТЬ** —
встревожить, побудить к мя-
тежу (тут воз- сильнее, чем
вз-)
ВЗМУЧАТЬСЯ, **ВЗМУЩАТЬСЯ**,
ВЗМУТИТЬСЯ — ☉ и ☉
ВЗМУТНИК — кто мутит (во
всех значениях)
тут народ **ВЗМУТЧИВЫЙ**
ВЗМЫЛЬЧИВОЕ мыло, козь
ВЗМЯТЕЖИТЬ *кого*
ВЗНАРОК *нич.* — нарочно, с умыс-
ла
ВЗНЕГОДОВАТЬ *на кого* (тут
вз- = воз-)
ВЗНИКАТЬ, **ВЗНИКАЮТЬ** —
1. возникать, приподнимать-
ся; 2. проявляться, обнаружи-
ваться, высказываться
хлеб градусом выбито, уж не
ВЗНИКНЕТ

- ВЗНИК, ВЗНИЧЬ, НАВЗНИК — павзничь
- унасть ВЗНИКОМ, ВЗНИЧЬ
- ДАЙ ВЗНИКУ — оставь меня в покое
- НЕ ДАВАТЬ ВЗНИКУ *кому* — преследовать, не давать воли от него ВЗНИКУ НЕТ (не даёт поднять голову)
- ВЗНИМАТЬ, ВЗНЯТЬ — поднимать, приподнимать
- ВЗНОСИТЬ, ВЗНЕСТЬ, ВЗНАШИВАТЬ
- ВЗНОС, ВЗНОСКА — дй. по глг.; взпосимый предмет
- правильно: ЧЛЕНСКИЙ ВНОС (а не взнос)
- ВЗНОСНЫЕ СЛОВА — клевета
- ВЗНОСЧИВЫЙ — заносчивый
- ВЗНУЗДКА — 1. дй. по глг.; 2. сам способ
- ВЗНЫВАЕТ сердце
- ВЗНЯТЬСЯ *на кого* — подняться, восстать
- собаки так и ВЗНЯЛИСЬ на него
- ВЗОГНУТЬ — погнуть кверху
- ВЗОГРЕТЬ — разогреть
- ВЗОДРАТЬ струп
- ВЗОДРАТЬ цепьку под пашню
- суком бок ВЗОДРАЛО
- ВЗОДРАТЬСЯ *куда* — взлезть с трудом, во неудобному
- ВЗОПРЕЛЫЙ
- ВЗОРИСТЫЙ — видный, казистый, приятный для глаз
- ВЗОРНО *нч.* — на глаз
- ВЗОТКИЙ жердь на конну (но-верх)
- ВЗОХАТЬСЯ — разохаться
- мне ВЗОШЛО НА УМ
- ВЗРАЧНЫЙ — казистый, при-
- глядный, видный
- ВЗРЕВНОВАТЬ
- ВЗРЁВ — внезапный рёв
- ВЗРЕЗНИК, ВЗРЕЗНИЧОК — пож для бумаги
- ВЗРОСТ — полный возраст, начало возмужалости
- ВЗРОСТНЫЙ — возмужалый
- парень НА ВЗРОСТЕ — почти взрослый
- ВЗРЫВЧИВЫЙ — 1. взрывчатый; 2. ●
- ВЗРЫВА *об.* — запальчивый человек
- ВЗРЫДОМ *нч.* — павзрыд
- ВЗУБРИТЬСЯ *во что* — ●
- ВЗЪЕДЧИВЫЙ, ВЗЪЕДЛИВЫЙ *члв.*
- ВЗЪЕЗЖИЙ откос
- ВЗЪЕРАЛАШИТЬ *что, кого*
- ВЗЪЕРЕПЕНИТЬ, ВЗЪЕРИХОНИТЬ *что* — взьерошить, взбить в беспорядке
- ВЗЪЕРОШКА — дй. по глг.
- ВЗЪЕРШ *м. (Рмз)*
- ВЗЪЕМ — ход в гору, подъём
- ВЗЪЕМШЫЙ
- ВЗЪЕМИСТАЯ гора — круговатая
- ВЗЪЕМЧИВАЯ *пружина* — упругая, сильная
- ВЗЫВ, ВОЗЫВ — возглас
- рыба плещется, ВЗЫГРЫВАЕТ сердце ВЗЫГРАЛОСЬ радостью
- ВЗЫГРАЛ вихрь
- ВЗЫМЕЛ ОХОТУ *к чему* — возымел
- ВЗЫМЫВАЛИ *калоги* в выше
- ВЗЫМ, ВЗЫМКА — 1. дй. по глг., взятие; 2. набор, взятка
- ВЗЫМШЫЙ
- ВЗЫМАТЕЛЬ *податей*
- ВЗЫСКИВАТЬ — 1. с *кого*;

2. *кого* милостью, гневом (высшая мера этого чувства)
- ВЗЫСК — 1. (*Ост*) дй. по глг.; 2. взыскиваемая сумма, пеня
- ВЗЫСКАТЕЛЬ, ВЗЫЩИК, ДОПРАВЩИК
- ВЗЫСКАТЬ гостя (*Лс*) — угощать
- ВЗЫСКАНЕЦ, ВЗЫСКАНИЦА — благодетельствованный
- ВЗЫСКЛИВЫЙ, ВЗЫСКУЧИЙ — придирчиво взыскательный
- ВЗЫСКАТЬСЯ *чего* — начать отыскивать заботливо
- ВЗЯТЬ ВОЛЮ — своевольничать
- ВЗЯТЬ ВТЯМ — в толк, смекнуть
- УПРАВА НЕ ВЗЯЛА — не сладил, не смог
- ВЗЯТЬ ПОД СИЛКИ — поперёк тела
- НЕКЕМ ВЗЯТЬСЯ — помощи нет
- ВЗЯТЬЕМ ВЗЯТЬ — нахрапом, насильно
- ВЗЯХАРЬ, ВЗЯХА *об.*
- ВИДАТЬ — 1. (случайно, временно, иногда); 2. *эм.* видеть
- ВИДЫВАТЬ (когда-то, давно, случайно, но и почаству)
- ВИДЫВАТЬСЯ *с кем*
- ВИДИТСЯ *безл.* — *в част.* виднётся
- ВИДАНЫЙ — когда-либо кем испытанный
- ВИДЕННЫЙ — такой, который был виден
- отсюда НЕ ВИДКО — не видно
- ВИДАЛЫЙ члв., ВИДАКА *об.*
- ПАРЕНЬ-ВИДАЛЬЩИНА
- ВИДАЛЬЩИНА — *брг. эмч.* бывалое дело
- ВИДЯЧИЙ, ВИДУЧИЙ, ВИДЮЧИЙ, ВИДУЩИЙ — зрячий; зоркий
- В ВИДКАХ *ич.* — в виду, на глазах
- ВИДНОСТЬ, ВИДКОСТЬ
- ВИДНЕХОНЕК, ВИДНЕШЕНЕК
- ВИДНЕТЬ — 1. неясно представляться в отдалении, впотьмах; 2. становиться яснее для глаз; 3. светать
- ВИДОМ НЕ ВИДАТЬ, СЛЫХОМ НЕ СЛЫХАТЬ
- ВИДОВО *сез.*, ВИДОМО *ич.* — очевидно
- ВИДОНАЧЕРТЕНИЕ
- ВИДОПОЛОЖЕНИЕ
- ВИЗГОВАТЫЕ песни
- ВИЗГОТНЯ
- ВИЗГУН, ВИЗГУНЯ, ВИЗГУША
- ВИЗГУЧИЙ (*В. Аф.*)
- эм. визир м. ск.* ЗОРОК
- эм. визит инг. м. ск.* ПРОВЕДИКА
- эм. викинд м. ск.* ОБНЕДЕЛОК (что обмыкает неделю), ЗАНЕДЕЛОК
- ВИЛОЙ — который вьётся
- ВИЛЬ *мжд.* в сторону
- ВИЛЯТЬ УМОМ
- ВИЛЯВЫЙ, ВИЛАВЫЙ — извилистый; хитрый, уклончивый
- речка вся в ВИЛЮШКАХ
- ВИЛЮЧАЯ река (*В. Аф.*)
- гут ВИЛЮШКАМИ не отделаться
- ВИЛЮРУКИЙ (хватчивый)
- ВИЛА *об.* — велила, увёртливый
- ВИНИТЕЛЬ — обвинитель, учитель
- ВИНОВАТИТЬ *кого в чём, за что*

ВИНАРЬ — винодел, виногра-
дарь

ВИНОГОННЫЙ — винокурный

ВИНОПИЙЦА, ВИНОПИВЕЦ

ВИНОПЛЯС — 1. действие;
2. участник

ВИНОПРОДАВЕЦ

ВИНОЧЕРПЕЦ, ВИНОЛИЙ

ВИНТОВАТЬ — нарезать вып-
товые бороздки

ВИНТОРЕЗ — винтоваль-
ная доска (для нарезки вин-
тов)

К нашим читателям

В соответствии с договоренностью с А. И. Солженицыным (см. Русская речь. 1990. № 3) на этом мы завершаем публикацию фрагментов из «Русского словаря языкового расширения». Попутно сообщаем, что в полном объеме, при нашем участии, Словарь выпустило в свет издательство «Наука».



Народно-диалектный прототип современного термина

Т. С. Коготкова,

доктор филологических наук

Народно-диалектная речь и богатейшие фонды ее словаря — это не только «запасное отделение» в общей сокровищнице национального языка, к которому как к надежному резерву обращаются профессионально пишущие с целью «подпитать» свой лексикон словом свежим, неизбитым и точным, но и источник многих самых необходимых и единственных наименований различных предметов, их признаков и действий, относящихся к материально-производственной деятельности. Так эти слова становятся терминами. Термин, обслуживая любую целенаправленную трудовую деятельность человека, отличается от обычного слова смысловой точностью, равной однозначности, и строгой соотносительностью с определенным понятием или реальней.

Термины и иная специализированная лексика за последние годы привлекают все возрастающее внимание лингвистов. В этот обширный круг лингвистических разработок терминов включаются и генетические, связанные с их происхождением, с установлением их *изначальных истоков*. Наиболее заметны такие работы, которые направлены на выявление «чужого», заимствованного, органически усвоенного русским языком, полуусвоенного или не усвоенного вовсе. И это понятно. «Чужое», не «свое» в словаре любого национального языка видно; оно бросается в глаза уже своей формой. Во все времена терминологические заимствования, как и другие, — арена горячих споров; они привлекали и продолжают привлекать к себе внимание всех: от рядового посетителя языка до ученого-лингвиста.

В настоящих заметках наше внимание привлекает прямо противоположный в генетическом отношении материал, такой, который своими корнями уходит в глубины народно-диалектной языковой практики. Не «чужезычное» в терминологии, а наоборот — «своеязычное».

Обратиться к генетическому «своеязычию» в русской унифицированной терминологии сегодняшнего дня заставляет многое.

Идет массовый наплыв заимствованной терминологии, преимущественно из западноевропейских языков, вызываемый самим временем научно-технической революции с характерным для нее не только расширением международных связей в науке, технике, культуре и торговле, но и притоком в связи с этим самих предметов, оборудования, приборов, машин, устройств и т. п. с уже готовыми для них наименованиями. В среде языковедов все увереннее звучат голоса о сплошной интернационализации современной терминологической лексики, а доля самобытно русского национального элемента снисходительно расценивается как реликт, пережиток былых эпох. Согласно таким укоренившимся взглядам, термины, восходящие к народно-диалектной языковой среде, употребляются лишь в современном профессионально-речевом обиходе по инерции, они трудно поддаются унификации и стандартизации. По этой причине у них нет будущего.

Так ли это?

Даже далекое от идеала профессионально-лингвистическое владение фактами народно-диалектного словаря в его многочисленных тематических пластах дает повод подвергнуть сомнению только что высказанные суждения и заняться их проверкой. Именно неизученность фактических данных большого объема (в науке важны именно фронтальные обследования), некомпетентность в области народно-диалектной лексики могли стать первопричиной восторженных представлений и смелых обобщений о месте и доле народно-диалектного словаря в составе современной терминологии.

Как, однако, выявить интересующие нас факты?

Ведь общее количество слов в разных пластах терминологической лексики пока не установлено никем. Что должно послужить источниковедческой базой для выявления самобытно-национальных элементов в составе специализированной лексики разных отраслей?

Чаще всего языковеды, изучая в разных аспектах терминологическую лексику, прибегают к выборке необходимого материала из специализированных словарей, энциклопедии, справочников по разным сферам науки, техники, культуры, производства. Пользуясь такими источниками, невозможно найти ответ на вопрос — насколько поддаются унификации и стандартизации термины народно-диалектного происхождения.

Для ответа на него мы решили в качестве языковой базы в своих изысканиях обратиться к таким собраниям терминологической лексики, где термин как языковой знак предстает в своем «чистом», систематизированном проявлении до конца. Такими изда-

ниями являются тексты терминологических стандартов — ГОСТы и ОСТы. Попавшие в терминологические стандарты единицы систематизированы и понятийно строго соотнесены с логико-понятийной базой каждой конкретной терминосистемы. Они точны как в плане наименования понятия (или реалии), так и в плане содержательного наполнения их дефиниции (толкования). Поэтому в терминоведении их называют закопными терминами.

Поиск народно-диалектного прототипа в составе современной терминологии возможен лишь в движении от настоящего к прошлому. Ретроспективный характер таких изысканий находит опору в тематической классификации диалектной лексики. В этих самобытных тематически-детерминированных разрядах диалектного словаря в первую очередь и сохраняется национальная окраска терминологии.

Традиционные и наиболее древние занятия народа, такие как разные отрасли хозяйствования — земледелие, животноводство, бортничество, рыболовство, охота, лес и деревообработка, дополнялись и другой производственной деятельностью, носившей преимущественно домашний характер. Академик Б. А. Рыбаков, изучив ремесла Древней Руси, писал, что почти каждая крестьянская семья своими силами рубила избу, ладила соху, борону, ставила ткацкий стан, дубила овчины, пряла, ткала, изготавливала деревянную мебель и утварь. Все эти занятия естественно отражались в языке. (Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. 1948. С. 182).

В народно-диалектной среде, в устпоречевом обиходе лиц, занятых традиционно-устойчивыми видами трудовой деятельности, формировалось ядро номинативной лексики — основы естественно складывающейся терминологии. Уже на этом, донаучном этапе ее, отражались четкие представления об основных объектах деятельности, о соответствующих им процессах, о качественном своеобразии реалий этой деятельности.

Древнее слово, попав в терминологию современного производства, обретает новую и полноценную жизнь.

С давних, незапамятных времен существует в славянских языках слово *под*, обозначая «выстил, днище любого очага». Устойчивость слова определена неизменностью самой реалии. В быту русского человека слово и реалия получили широкое распространение благодаря русской печи, нижняя горизонтальная поверхность которой пазывается *подом*. Отмеченное повсеместно слово *под* — производящая основа многих однокоренных слов и словосочетаний: *подовые пироги, подовые хлебы* — испеченные прямо на поду без противня. Общеупотребительность, общеизвест-

ность и устойчивость слова *под* отражена в литературных сочинениях разных эпох. В «Житии протопопа Аввакума» о бродяге юродивом читаем: «Он в хлѣбне той после хлѣбов в жаркую печь влѣзь и голым гузном сѣл на поду и, крошки подбираючи есть» (Карт. Слов XI–XVII вв.). У М. Горького в повести «Двадцать шесть и одна»: «Лопата пекаря зло и быстро шоркала о под печи, сбрасывая скользкие вареные куски теста на горячий кирпич».

Радикальные изменения в бытовых и жизненных условиях человека XX века, в частности снижение доли печного отопления (в больших городах оно сведено почти к нулю, в малых и сельских местностях намного уменьшилось), переход на фабрично-заводское хлебопечение заметно снизили всеобщность в употреблении слова *под*. Создаются все внеязыковые предпосылки для перемещения слова *под* в разряд устаревающей лексики. Так выглядит эта картина в рамках общеразговорного речевого обихода.

В терминологических же сферах такого сужения в употреблении древней лексемы *под* нет и не может быть. Везде, где применяются печи (в металлургии, в производстве силикатно-керамических изделий, многочисленных углеродных материалов) слово *под*, сохраняя традиционную семантику «выстила, днища в печи» входит необходимым компонентом в составные терминологические единицы, унифицированные и стандартизованные, снабженные четкой дефиницией. В рекомендациях Международной организации по стандартизации терминологии (ИСОР-836 68) по разделу «Силикатно-керамические и углеродные материалы и изделия» находим: *под горшковой печи* (5125), *под, лещадь* (2610), *под топки* (4830), *под туннельной вагонетки* (5700), *под камеры* (4240) и мн. др.

В этих составных терминологических единицах элемент *под* выражает часть предмета, т. е. выполняет нарггитивную роль, в других же эта роль конструктивная: *печь с вращающимся подом* (5610), *печь с выдвижным подом* (3755), *печь с шагающим подом* (5570) и т. п.

Аналогично применение элемента *под* в составе стандартизованных терминов и в металлургии: *камерная электропечь сопротивления с выдвижным подом* (31), *электропечь сопротивления с наклонным подом* (49), *электропечь сопротивления с пульсирующим подом* (50) (ГОСТ 16382-70. Электропечи сопротивления промышленные для нагрева и термической обработки).

Элемент *под* в составных терминах (ряды таких примеров можно расписать), отвечая разнообразию самих внеязыковых реалий, красноречиво свидетельствует о назывной незаменимости

слова *под*, т. е. о его идиоматичности для определенных областей действительности.

Народно-диалектные слова — незаменимые компоненты в составных терминологических единицах — буквально рассыпаны по множеству самых разнообразных терминологических стандартов.

Меньше таких стандартов, где словники (т. е. толкуемые термины) полностью (или почти полностью) восходят к народно-диалектным прототипам. Причины этого лежат за пределами языка, они в самой действительности. От домашнего или ремесленного изготовления предметов до их современного индустриального производства парод прошел огромный путь. Конструктивно усовершенствовались орудия труда и механизмы, технологический процесс, видоизменились сырьевая база и конечный продукт производства. Все это в конечном счете влечет изменение словарно-номинативного фонда, обслуживающего ту или иную сферу производственной деятельности.

И тем не менее даже в этих условиях имеются такие терминологические стандарты, однословный терминологический состав которых полностью заимствован из народно-диалектной речевой практики. Ярким подтверждением этого служит ГОСТ 3123-78 «Производство кожевеннос». Из 428 терминируемых единиц 81 однословные. В их числе такие слова, как *безличина*, *болячка*, *бычина*, *вороток*, *выметка*, *выросток*, *голье*, *жеребок*, *запал*, *зачес*, *кнутовина*, *лизуха*, *лобаш*, *ломина*, *мостовье*, *мамазь* и мн. др., полностью перешли из речевого обихода промысловиков-кожевников.

Большинство же народно-диалектных прототипов, как уже было замечено ранее, как бы инкрустируют тексты терминологических стандартов. При этом они возможны и как однословные терминологические единицы, и как компоненты составных (*под* и др.). Надо заметить, что в современном терминообразовании создание составных терминов — ведущая и все прогрессирующая тенденция. Составные термины максимально точно отражают содержание обозначаемого понятия (или реалии), они подчеркивают и уточняют появление новых признаков в таком понятии, определяя тем самым развитие и изменение его.

В ГОСТе 13784-70 «Волокна и нити текстильные» наименование разных видов нити распределяются в зависимости от ее структуры и материала. Это *текстильная нить*, *элементарная нить*, *комплексная нить*, *крученая нить*, *троценая нить*, *натуральная нить*, *искусственная нить*, *фасонная нить* и др. В таком существенном для текстильного производства многообразии нитей отмечается *троценая нить*, структура которой состоит из двух

или нескольких продольно сложенных, но не скрученных между собой нитей. В текстильном производстве *тращение нити* предваряет ее скручивание. Отсюда *тростильные машины*, а *лицо*, работающее на них, — *тростильщик*.

По происхождению прилагательное *трощеный* (из страдательного причастия) восходит к глаголу *тростить* — *тращивать*, широко распространенному в разных говорах русского языка, что и отмечено в областных словарях разных зон. Прядильное значение его также связано с указанием на способ объединения нити (или веревки).

Многие терминосистемы включают в свой состав диалектные прототипы, которых нет в общелитературном словоупотреблении: *тростить*, *цевка*, *свиля*, *облой*, *обечайка*, *копыл* и т. п. В стилистике их называют *дифференциальные лексические диалектизмы*, потому что уже формой своего выражения они отличаются от словарного состава литературного языка.

Термины такого типа нередко воспринимаются как иноязычные заимствования, ибо в этом случае в языковом сознании многих не возникает никаких живых ассоциативных связей. Нам уже приходилось писать на эту тему в журнале «Русская речь» (1984, № 1) в связи с анализом слова *тук* и его производных.

Пожалуй, в недостатке этимологических познаний кроется одна из причин недооценки доли собственно национального элемента в составе терминологической лексики современного языка.

Доля «народно-диалектного участия» в формировании и полноценном существовании современной терминологии — это предмет большого (и не одного) лингвистического разговора. В этом разговоре одинаковы обе опасности — недооценивать значение народно-диалектного элемента в современном терминоподобразовании и, наоборот, переоценивать его.

Еще раз о склонении слова ГОСТ, или о ведомственной морфологии

Э. И. Хан-Пира,

кандидат филологических наук

Слушатели Всесоюзного института повышения квалификации работников печати не раз спрашивали: почему в изданиях, выпускаемых Издательством стандартов, слово ГОСТ не склоняется, а в газетах, журналах, книгах его склоняют и этого же требуют «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, «Словарь сокращений русского языка», «Орфографический словарь русского языка»? Имеет ли отношение к этому способ, которым было образовано слово ГОСТ?

Начнем с последнего вопроса. Как возникло это слово? Академическая «Грамматика русского языка» (М., 1952) относит ГОСТ (существуют, кстати, два варианта его написания: ГОСТ и *гост*) к числу сложносокращенных слов, образованных звуковым подтипом инициального типа аббревиации (*вуз, дог* и т. п.). Инициальный тип образует сложносокращенные слова либо из первых букв каждого слова сокращаемого словосочетания (буквенный подтип), либо из первых звуков (звуковой подтип). Например: МВД (пишутся первые буквы и произносятся их названия — *эмвэдэ*) и МХАТ (пишутся первые буквы, но произносятся звуки, ими обозначаемые).

Академическая «Русская грамматика» (М., 1980) полагает, что ГОСТ образован посредством смешанного типа аббревиации, совмещающего в себе инициальный тип (точнее, звуковой подтип инициального типа; это уточнение, к сожалению, отсутствует в «Русской грамматике») и тот, который условно можно назвать слоговым и которым образованы, напр.: *продмаг, завхоз, комсомол*. Смешанным типом аббревиации, согласно «Русской грамматике», образованы, кроме ГОСТа, еще *собес, горопо, сельпо* и т. п. (см. с. 255).

Кто же прав? Сейчас трудно установить, какое именно словосочетание выступило мотивирующим (производящим) при образовании аббревиатуры ГОСТ. Академическая грамматика-52 считает, что этим словосочетанием было *государственный общесоюзный стандарт*. Так поясняют ГОСТ и «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, и «Словарь сокращений русского языка».

«Русская грамматика» (1980) и ее предшественница академическая «Грамматика современного русского литературного языка» (М., 1970), судя по тому, что они обе отнесли ГОСТ к аббревиатурам, созданным смешанным типом аббревиации, мотивирующим (производящим) словосочетанием полагают *государственный стандарт*: ведь иначе не объяснить отнесение этими двумя грамматиками ГОСТа к словам, образованным смешанным типом аббревиации.

Учитывая существование еще и ОСТов — отраслевых стандартов — [интересно, что ни Грамматика-52, ни Грамматики-70 и -80 не отметили, что в ГОСТ (как, впрочем, и в ОСТ) вошел не один звук — представитель последнего слова мотивирующего словосочетания, а вошли два звука — СТ], которые представляют собой тоже установления государственного, а не общественного или личного происхождения, и, так сказать, «самопазвание» документа, содержащего ГОСТ, — *Государственный стандарт Союза ССР*, следует полагать, что слово *государственный* указывает на ранг, статус данного стандарта, территорию, на которую распространяется действие его обязательной силы. Это, во-первых. А во-вторых, присутствие в названии слова *государственный* (в таком его употреблении), слов *Союза ССР* еще и слова *общесоюзный* совершенно излишне, плеонастично. Таким образом, толкование ГОСТа в словарях современного русского языка следует, по-моему, уточнить: «государственный стандарт СССР», а не «государственный общесоюзный стандарт».

Мы коснулись образования и смысла слова ГОСТ. Что же говорят академические грамматики о его склоняемости?

Грамматика 52 устанавливает: «Сложносокращенные имена существительные, относящиеся к звуковому подтипу инициального сложения (напомню, сюда поместила ГОСТ эта грамматика. — Э. Х.), оканчивающиеся на согласный и не являющиеся условно-номенклатурными обозначениями, склоняются по образцу существительных первого склонения: *вуз — вуза, вузом* и т. п.» (с. 182). Поскольку ГОСТ оканчивается на согласный и не является «условно-номенклатурным обозначением», то, согласно Грамматике-52, он должен склоняться.

Грамматики-70 и -80 того же мнения (см. соответственно с. 175 и с. 506).

Итак, три академические грамматики считают нормой изменение слова ГОСТ по падежам. «Орфографический словарь русского языка» отражает эту норму. «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (М., 1981) — тоже. И приводит примеры: «Изделие не соответствует госту. Пересмотреть госты на ткани». «Словарь сокращений

русского языка» (изд. 3-е, М., 1983) констатирует: «Нарушения последовательной склоняемости не коснулись, кажется, лишь тех немногих аббревиатур, которые давно и прочно функционируют в разговорной речи (ГУМ, ЦУМ, ГОСТ) или закрепились в строчном написании (*вуз, загс, дот*). Эти сокращения обладают не только регулярной, но и абсолютной склоняемостью» (с. 6).

Почему же ГОСТ склоняется? Во-первых, сам способ его образования предопределяет склоняемость этого слова. Как говорится, достаточно «во-первых». Но есть и «во-вторых». Как отметил еще в 1963 г. Д. И. Алексеев, ГОСТ входит в число аббревиатур, которые «безусловно утратили способность расчленяться на составные компоненты, понятны без расшифровки... и должны рассматриваться как слова по этимологии (по происхождению.— Э. Х.) сложные, а по современной структуре — простые, корневые, «опрошенные» (Алексеев Д. И. Графические сокращения и слова-аббревиатуры.— В кн.: Развитие современного русского языка. М., 1963). А это поддерживает его способность склоняться. В-третьих, видимо, как следствие этого «опрошения» у ГОСТа появилось новое значение, которое можно истолковать так: «печатное издание, содержащее ГОСТ», «печатный документ под названием „ГОСТ“». Мы говорим: *Купил ГОСТ, Интересный ГОСТ* (см. об этом: Миськевич Г. И., Хаустова Ю. Ф. ГОСТ.— В кн.: Культура речи в технической документации.— М., 1982). Это тоже работает на склоняемость ГОСТа.

Да, ГОСТ десятки лет обладает «абсолютной склоняемостью» всюду, как в устной речи, так и в письменной, кроме изданий, выходящих в системе Госстандарта СССР [в книге Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотного стилистического словаря вариантов» (М., 1976) о ГОСТе сказано: «И в разговорной и в письменной речи употребляется, преимущественно, в склоняемой форме... Отступления от этой нормы крайне редки...»] В изданиях Госстандарта этому слову навязана абсолютная несклоняемость. [Например, в ГОСТе 16487-83 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (М., 1984) читаем: «По ГОСТ 13.101-74» (с. 3), «По ГОСТ 6.102-83», «По ГОСТ 6.102-83» (с. 4). Остается только мрачно скаламбурить о погосте, где похоронена морфологическая норма]. В 1983 году на одной из конференций по стандартизации терминологии я упомянул о расхождении такого запрета с морфологической нормой. Да, куда там! Вот что находим в статье, которая называется «ГОСТ» и целиком посвящена этому слову: «Небезынтересным представляется следующий факт. При рецензировании проектов

ГОСТов сотрудники сектора культуры речи Института русского языка АН СССР всегда обращали внимание составителей на несклоняемость аббревиатуры ГОСТ и рекомендовали изменять аббревиатуру по парадигме муж. рода. Между тем в последующей работе над текстами проектов ГОСТов ни разу это замечание не было принято составителями: в присылаемых в институт вторых редакциях проектов ГОСТов, в изданных... ГОСТах аббревиатура ГОСТ употребляется как изменяемое имя существительное» (Миськевич Г. И., Хаустова Ю. Ф. Указ. соч.). Думаю, что составители не виноваты. Я тоже был составителем ГОСТа. Мы бы с радостью склоняли, да Госстандарт не велит.

Интересен и другой факт: когда в реферативном сборнике «Научно-техническая терминология», издаваемом ВПИИКИ, появился реферат, излагающий содержание цитированной статьи, копечный вывод, к которому пришли ее авторы, не был даже упомянут. А между тем они твердо и ясно заключали: «Современная литературная норма не может принять несклонение существительного ГОСТ, в том числе и в определенных стилистических позициях. Склоняемость аббревиатуры ГОСТ в любых стилистических условиях — это особенность ее грамматического оформления, обусловленная общей грамматической характеристикой аббревиатуры и теми закономерностями, которые свойственны данному типу имен существительных — аббревиатурам» (там же).

Не располагая никакими разъяснениями из Госстандарта относительно причин ведомственной, так сказать, несклоняемости ГОСТа, авторы статьи пытались сами объяснить этот феномен объективными обстоятельствами. Они полагали, что несклоняемость «сформировалась именно под влиянием специфики делового стиля речи, к которому и принадлежат ГОСТы. К тому же особенность графического оформления самой аббревиатуры (инициальный тип), постоянное наличие... примыкающего определения, выступающего в роли кодового определителя в виде числительного, при этом обозначенного не словами, не буквами, а цифрами (т. е. знаками другой системы), также поддерживают несклоняемость аббревиатуры (и даже являются факторами, как бы усиливающими ее). Несомненно значимым оказывается тот факт, что цифры, определяющие любой ГОСТ, как правило, всегда сложные (там же).

Во-первых, если все это действительно так, то как авторы рискнули прийти к решительному выводу, который я уже цитировал? Во-вторых, почему «особенность графического оформления» не помешала склоняться *загсу*, который тоже бытует и в офи-

циально-деловой речи? В-третьих, разве при произнесении цифр не произносятся имена числительные? В-четвертых, скорее беглой разговорной речи (городскому просторечию) присуще нечто подобное: *Подъехали к дом девять, отъехали от дом девять*. В-пятых, числовое обозначение ГОСТа, его номер можно рассматривать как приложение, ср.: *На шахте «Центральная-Ирмино», на шахте 7-бис, в пьесе «Вишневый сад», на бронепоезде 14-69*.

Никаких объективных обстоятельств, препятствующих склонению ГОСТа, не существует. И он склоняется и в одиночку, и с числовым определителем: «В итоге они составят весь словарь ГОСТа 3123-78» (Коготкова Т. С. Опыт лингвистического описания одной терминсистемы.— В кн.: Культура речи в технической документации); «Еще более разительный пример подобного явления обнаруживается в ГОСТе 23375-78 (Машины электрические вращающиеся малой мощности)...» (Даниленко В. П. Еще раз к вопросу о кратких вариантах терминов.— В указ. изд.); «Технические рисунки... выполняются... в соответствии с требованиями ГОСТа 3453-46» (Данилов И. Я. Справочник автора книги.— М., 1966); «Новым ГОСТом предусмотрены 30 форматов...» (Богданов Н. Г., Вяземский Б. А. Справочник журналиста.— Л., 1971).

Могут спросить: «Не стоит ли несклоняемость слова ГОСТ (в определенном жанре письменной речи) в том же ряду, что и несклоняемость топонимов в официально-деловой речи военных?» Нет, не стоит. Военные не склоняют топонимы, чтобы не допустить возможной ошибки, когда один населенный пункт может быть принят за другой из-за совпадения их названий в формах косвенных падежей (ср., например: *Могилев* и *Могилево* — р. п. *Могилева*, д. п. *Могилеву*).

В ГОСТах же эта ошибка исключена: они имеют помера и названия, например: ГОСТ 16487-83 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».

Само по себе слово ГОСТ — имя нарицательное. Оттого, что мы говорим: «В ГОСТе 16487-83...», этот ГОСТ не спутают с другим, у которого иные номер и название, как не путаем мы Свердловск с Челябинском из-за того, что говорим: «В городе Свердловске...»

Таким образом, никаких разумных оснований для несклонения слова ГОСТ не существует: ни морфологических, ни стилистических, ни смысловых.

Частица *не*: отрицание или утверждение?

Р. Х. Шакиржанова,
кандидат филологических наук

Этот вопрос вполне правомерен, и он, судя по письмам, интересует многих наших читателей. За частицей *не* как бы закреплено название «отрицательной». Частица *не*, сказано, например, в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, «служит для выражения отрицания». Между тем в живой речи круг передаваемых ею смыслов значительно шире и многообразнее.

Наш замечательный лингвист А. М. Пешковский, рассматривая отрицательные предложения, признавал, что категория отрицания имеет «колоссальное психологическое и, главным образом, логическое значение», имея в виду неразрывную связь отрицания с утверждением: «ведь утверждение и отрицание взаимно обуславливают друг друга, а где нет утверждения, там нет и истины, там нет и человеческой мысли» (Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М. 1956. С. 386. Разрядка А. М. Пешковского — Р. III.)

В грамматиках традиционно выделяются предложения *общеприказательные* (*не* находится при сказуемом и, соответственно, отрицательное значение имеет все предложение) и *частноотрицательные* (*не* находится при другом члене предложения, отрицается часть действия, явления, и отрицание носит частный характер), например: «Все было кончено, но Ромашов *не чувствовал* ожидаемого удовлетворения, и с души его *не спала* внезапно... грязная и грубая тяжесть» (Куприн. Поединок); «Люди совсем *не одинаково* чувствительны к смерти» (Бунин. Жизнь Арсеньева); «Я *не вдруг* заснул»; «Медленно поправляясь, я *не скоро* начал ходить...» (Аксаков. Детские годы Багрова внука).

Остановимся подробнее на широко распространенных в нашем языке случаях, когда отрицательные по форме конструкции выражают не отрицание, а утверждение. Это, например, конструкции, в которых утверждение выражается посредством отрицания противоположности (в стилистике такая фигура называется *литотой*). Такие предложения могут быть как *общеприказательными*, так и *частноотрицательными*: «Наконец... он сказал, что

не худо бы купчую совершить поскорее...»; *«Закуска не обидное дело, с хорошим человеком можно закусить»* (Гоголь. Мертвые души); *«Не за себя я прошу... Не я болен!»* (Чехов. Враги); *«Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений...»* (Гоголь. Мертвые души); *«Пастухи были не одни»* (Чехов. Счастье).

В последних фразах утверждается множественность посредством отрицания единичности.

К конструкциям с переносным, утвердительным значением относятся также обороты с *не без*: *«Не без труда пригибая, я стал по очереди осматривать их»*; *«Андрей не без волнения ожидал, что круглолицый капитан и лейтенант затеряются в толпе...»* (Богомолов. В августе 44-го...); *«И «Неделя» не без греха»* (Неделя. 1989. № 46. 13-19 ноября).

Утвердительными по смыслу могут быть восклицательные фразы с формально выраженным отрицанием. Это так называемое *риторическое отрицание*. Значение утверждения с различными эмоциональными оттенками выражается в них интонацией и фразеологизированной структурой предложения. Например: *«(Звонцов) Промышленники, кажется, повимают свою роль... (Достигаев) Московские-то? Еще бы не понимали!»* (Горький. Егор Булычов и другие); *«Где только я не был в этот день!»* (Бунин. Жизнь Арсеньева).

Заметим, что интонация активно используется в живой разговорной речи как средство переосмысления семантики слов и конструкций, «смещения» их прямых значений. Она также может придать утвердительному предложению отрицательный смысл, обычно с экспрессивной иронией. Ср.: *Буду я отвечать!* (Из устно-разговорной речи); *«Как же! Позволю я над собой командовать! Вот еще новости!»* (Островский. Свои люди — сочтемся!).

Вопросительные фразы с отрицанием могут заключать в себе уверенное, категорическое утверждение, экспрессивно окрашенное. Это — *риторические вопросы*. В них, как правило, обращается внимание на обычность, закономерность, целесообразность, непеременимость наличия чего-либо и т. д. Это предложения с фразеологизированной структурой (они состоят, например, из местоименного слова, за которым обычно следуют частица *ли* и словоформа с частицей *не* или из сочетания *как с* частицей *не*), а также предложения со свободными компонентами. Например: *«Да и действительно, чего не потерпел я? Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что?»* (Гоголь. Мертвые души); *«Кого не заденет за живое: все подружки с мужьями давво, а я словно сирота какая»* (Островский.

Свои люди – сочтемся!); «Кто не заключал таких условий с своей совестью?»; «Да мало ли с кем я не жил?» (Лермонтов. Герой нашего времени); «Тихон! Не я ли клялась тебе, что и не взгляну ни на кого без тебя!» (Островский. Гроза).

В разговорной речи функционируют также фразеологизированные обороты с отрицательной частицей и с утвердительным значением, осложненным различными субъективно-модальными значениями, например: «Гнать не гнали, а и почету большого не было» (Островский. Бесприданница); «Ну, была не была, поеду» (Лесков. Очарованный странник); «О происхождении шашлыка он *знать не знал*» (Комсомольская правда. 1989. 28 октября).

В предложении может употребляться несколько отрицаний (при разных членах предложения). В том случае, если в составе сказуемого или при обоих главных членах присутствуют два отрицания, возникает категорически утвердительное значение с оттенками долженствования, неизбежности, необходимости, обязательности.

Конструкции с двойным отрицанием имеют несколько разновидностей. Это – предикативы *нельзя, невозможно* и частица *не* перед инфинитивом; *не* перед спрягаемой формой глагола *мочь* и перед инфинитивом; сочетания *не имеет права, не имеет оснований, не в силах* и следующий за ними инфинитив. Например: «Сам даже Чичиков *не мог отчасти не заметить* такого необыкновенного внимания» (Гоголь. Мертвые души); «Яков Артамонов был уверен, что кривоногий парень с плоским лицом *не может не отомстить* ему за выстрел» (Горький. Дело Артамоновых); «Такое настроение было у секретаря райкома, и Малинин *не имел оснований ему не верить*» (Симонов. Живые и мертвые); «Я *не мог не испытывать* тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати. Но я *не мог не знать* и того, что одна ласточка весны не делает» (Бунин. Жизнь Арсеньева).

В произведениях фольклора, в поэтических текстах широко используются конструкции отрицательного сравнения. В этих конструкциях содержится противопоставление сравниваемых ситуаций: посредством отрицания одного усиливается, подчеркивается, утверждается другое. В основе этих конструкций лежит психологический параллелизм – широко распространенный в фольклоре, особенно в народных песнях, прием сопоставления явлений и ситуаций человеческой жизни с картинами и образами природы:

Из того городу из Вереюшки,
Из того села Купелюшки
Ни бела заря занималася,
Ни красно солнце выкаталось,
Выкаталась там русская армия...

Не шум шумит, не гром гремит,
Молодой турчак полон делит.

Собрание народных песен
П. В. Киреевского

Не псарь по дубровушке трубит,
Гогочет, сорвиголова, —
Наплакавшись, колет и рубит
Дрова молодая вдова.

Не ветер гудит по ковыли,
Не свадебный поезд гремит, —
Родные по Проклу завыли,
По Проклу семья голосит...

Петрасов. Мороз, Красный нос

Такие конструкции мы находим еще в «Слове о полку Игореве»: «У Немиги кровавые берега не добром были посеяны — посеяны костями русских сынов».

Иногда, впрочем, и в обычной нашей речи встречаются конструкции с «отрицательным сравнением»: в них противопоставляется то, что сравнивается, тому, с чем сравнивается. Ср.: *Это не девочка, это сплошное горе.*

Подобные построения характерны и для других славянских языков. Так, конструкции с двойным отрицанием, риторические вопросы отмечаются в польском, чешском, украинском языках.

Душанбе

Слово в публичной речи

Л. Г. Смирнова,
кандидат филологических наук

Вот уже пять лет наше общество живет, движимое мощным импульсом, заданным понятием «перестройка». Бурные дебаты вокруг того, что и как надо перестраивать, не утихают. Страна превратилась в огромный дискуссионный клуб. Риторика все больше становится орудием политики.

Наблюдая сегодня за рождением новой плеяды общественных деятелей, взнесенной на гребень популярности у народа, можно с удовлетворением отметить, как хорошо говорят А. А. Собчак, А. Н. Яковлев, А. М. Емельянов, С. Б. Стапкевич и многие, многие другие. И если время застои запечатлелось в памяти скудоумием и косноязычием большой политики, то политика эпохи перестройки обрела мощный голос и впечатляющие ораторские формы.

Резко возрос интерес к ораторскому искусству. Само понятие «риторика» лишилось негативных смысловых оттенков выхожденности, трескучей помпезности, академизма, обрело нейтральную терминологичность. Но, увы, как всегда живой интерес к предмету наталкивается на отсутствие учебников и пособий по теории и практике красноречия. Положение не спасает даже известная книга Дейла Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». Несмотря на не знающий языковых границ здоровый прагматизм, которым проникнута книга Карнеги, она написана все же в духе американских культурологических традиций. У нас, русских, своя мощная культура, в том числе культура теории и практики красноречия, вспомним хотя бы «Риторику» М. В. Ломоносова.

Ораторское искусство — дисциплина, необходимость введения которой остро ощущают сегодня в школах и на гуманитарных факультетах. И пока вопрос, по каким учебникам учиться, оста-

ется нерешенным, обратимся к современной политике, предоставляющей нам в качестве учебного материала различные образцы риторики.

Успех публичного выступления определяет прежде всего его воздействие на аудиторию. От чего зависит эффективность этого воздействия? Несомненно, прежде всего от тех идей, мыслей, которые заключены в речи, от «исполнительских» способностей оратора, его человеческой значительности и обаяния. Однако не стоит умалять и собственно лингвистический аспект организации текста выступления. От того, какое словесное воплощение обретут мысли оратора, насколько понятны, конкретны и убедительны они будут, зависит эффект сопереживания, «сомыслия», который возникает подчас у людей с очень разными убеждениями.

Итак, какие моменты выступления следует тщательно продумывать ораторам?

Прежде всего, это композиция. Известно, как важно сразу же привлечь интерес аудитории и вывести ее из состояния безучастности, поэтому особое внимание опытный оратор уделяет началу выступления. В качестве начала речи может быть использован любой привлекающий внимание прием: исполненное особого значения или парадоксальное суждение, цитата, иллюстративный пример, юмористическое замечание. Вот как начал, например, свое выступление на I Съезде народных депутатов С. П. Залыгин: «Товарищи депутаты! Так случилось, что на днях я заглянул в одну старую энциклопедию и прочитал там следующий текст: „В 1682–1690 гг. Кремль был свидетелем бурных диспутов о „вере“. Сюда собирались стрельцы и посадские люди с требованиями о расширении своих прав и смене правящих лиц“. Неожиданное замечание о точном повторении ситуации через три столетия вызвало оживление в зале.

Поскольку из всего выступления слушатель лучше всего запоминает его начало и конец, то такой же впечатляющей, врезающейся в память должна быть концовка. Например, Г. Я. Бакланов закончил выступление на XIX партконференции мыслью о том, что в ходе перестройки неизбежны жертвы, с которыми необходимо смириться ради большой общей цели. Сама эта мысль могла бы не запомниться, если бы оратор не воплотил ее в притче об австралийском летчике, который в случае, если даже из его самолета выпадет сама английская королева, должен выровнять самолет и продолжать полет.

Таким образом, вступление и заключение к речи представляют собой отдельный микротекст, который может по своему сюжету выделяться в целом выступлении. Он воспринимается

слушателями как отдельный законченный фрагмент, связанный концептуально с целым текстом.

Что касается основной части выступления, то она может строиться по-разному в зависимости от материала. Это может быть повествование, основанное на хронологии событий. Если основная цель оратора — подробное рассмотрение объекта, то речь строится по принципу последовательного описания предметов или явлений, соположенных в пространстве, по принципу нанизывания определений, сравнения двух или нескольких объектов. Внимание аудитории поддерживает построение речи в виде цепи возникающих (в том числе и в сознании слушателей) вопросов и ответов на них. Например: «Наши матери не бросали нас, хотя жилось трудней. Почему же сегодня мать может бросить ребенка? Да потому, что в обществе такой моральный климат» (Из выступления Р. А. Быкова на I Съезде народных депутатов). Вопросы оратора могут носить риторический характер: «Понять бы можно человека времен застоя, когда вообще ни во что не верили, видя вселенскую ложь и воровство. Но сейчас-то чего ждать? Сейчас-то что мешает определиться, когда развязаны руки, раскрыты души? Неужто опять проклятый страх, который сидит в наших генах? Истинно сказано: надо прежде всего перестраиваться самому» (Из выступления М. А. Ульянова на XIX партконференции).

При подготовке выступления оратор должен провести отбор оптимального количества информации. Трудно слушать выступления, не содержащие никакой информации, но и избыток различных сведений утомляет слушателей, ослабляя их внимание. Аудитория не способна воспринять более пяти — шести основных положений в речи, не следует стремиться также к излишней подробности изложения.

Устной речи противопоказаны длинные периоды с обилием придаточных предложений, вводных конструкций, причастных и деепричастных оборотов. Наоборот, экономность и структурная простота облегчают слуховое восприятие. Любое публичное выступление, даже самое официальное, требует естественного языкового поведения оратора. В нем допустимы лексические и текстовые повторы, ассоциативные вставки, уточнения и обращения к аудитории.

Невозможно говорить о каком-либо явлении вне его культурно-исторического контекста. Поэтому довольно часто ораторы включают в свои выступления цитаты, упоминают различные исторические реалии, имена деятелей политики и культуры, проводят разнообразные параллели. Оратор может использовать

прямую цитату: «...Петр Чаадаев писал о России: „Мы – народ исключительный, мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь страшный урок...“ „Страшного урока“ больше не должно быть» (Из выступления Ю. П. Владова на I Съезде народных депутатов). Оратор может перефразировать известное изречение: «Я бы сказал вот что: „Кто не работает – тот ест того, кто работает“» (Из выступления П. Г. Буняча на I Съезде народных депутатов); может использовать интересное сравнение с какими-либо культурно-историческими реалиями: «Платформа ЦК КПСС... написана на языке веры, но она не Нагорная проповедь, от которой иррационально было бы требовать доказательство ее заповедей» (Из выступления С. С. Шаталина на Пленуме ЦК КПСС. Правда, 1990, 8 февр.).

Цитирование различных источников оказывает также некоторое психологическое воздействие на аудиторию, вызывая у нее чувство «сопричастности к знанию». Однако следует помнить одно важное правило цитирования. Если оратор не приводит цитату полностью, а ограничивается лишь упоминанием автора или названия произведения, имен исторических деятелей, он должен быть уверен, что они знакомы аудитории. Иначе обилие незнакомых имен и названий будет только утомлять и раздражать слушателей.

Наконец, несколько слов о языке и стиле публичного выступления. В общем плане язык выступления должен обладать следующими качествами: во-первых, быть грамматически правильным. Ошибки в речи сводят на нет цели оратора, подрывая к нему доверие.

Во-вторых, язык выступления должен быть точным. Вызвать у слушателей наглядно-образные представления может только конкретная лексика, которая в ораторской речи предпочтительнее абстрактной. Как писал упомянутый уже Дейл Карнеги, фраза «белый петух бантамской породы со сломанной ногой» создаст в представлении слушателей куда более яркую картину, чем термин «домашняя птица».

Следует избегать в выступлении семантически пустых слов (например, местоимений), слов, не имеющих точной соотносительности с реальным явлением действительности (это в основном излюбленная терминология застойного периода: «неуклонное повышение благосостояния советского народа», «планомерное и пропорциональное развитие советской экономики», «все прогрессивное человечество» и т. д.). Тягостное впечатление на публику может произвести также обилие малопонятных терминов.

В-третьих, язык выступления должен быть экономным. Необходимо избегать повторов, неожиданных отклонений мысли, излишней обстоятельности в изложении информации, ничего не значащих или всем известных определений типа «знаменитый», «выдающийся», «значительный».

Одна из самых больших проблем нашей речи — ее штампованность, отсутствие языковой индивидуальности. В официальной обстановке мы общаемся чаще всего с помощью устойчивых словесных формул — клише, которыми в изобилии снабжают нас средства массовой информации. Однако штампы, как правило, автоматически воспринимаются слушающим, проносясь мимо его сознания. Это в лучшем случае. В худшем случае особенно идеологические штампы вызывают раздражение и неосознанный протест.

Оратору приходят на помощь общеизвестные способы оживления мыслей: метафоризация, использование сравнений, антитез, гипербол, необычная сочетаемость слов, выбор нетривиальных синонимов. Например: «...где у нас появляются щели исключения, там через краткое время открываются ворота и туда уже идут толпой и все исключительно исключительные» (Из выступления М. А. Ульянова на XIX партконференции); «Культ личности государства отрицательно сказался и на промышленности, давно ставшей не только долгостроем, а вечностроем „счастливого будущего“». (Из выступления Е. А. Евтушенко на I Съезде народных депутатов). Однако в использовании метафоризации тоже необходима мера, иначе сквозь частокол метафор слушателю бывает трудно добраться до сути мысли. Например: «Начертан оптимальный шлях, мы двинулись, выпустили в поднебесье воздушные шары самообманного благополучия, которые многие годы пытались состыковать с не весьма благополучной реальностью» (Из выступления Б. И. Олейника на XIX партконференции).

Сильное воздействие на аудиторию оказывает такой стилистический прием, как ирония: «Мы занимаем сейчас явно передовые позиции по очередям, количеству людей, которые ходят с сумками, размеру каждой сумки и тому воздуху, который в ней находится» (Из выступления П. Г. Бунича на I Съезде народных депутатов).

Особый вопрос — ритмическая организация ораторского выступления. Отдельные фрагменты речи оратора, ритмически организованные с помощью параллельных синтаксических структур, рефренов-повторов активизируют внимание слушателей, усиливают значимость сказанного. Например: «Если мы у себя провозглашаем принципы свободы и демократии, то как же мож-

но отказывать в этом другим. Если хотим, чтобы наши республики были свободными,...то с той же логикой надо подходить к другим странам. Если еще в 1985 г. мы провозгласили свободу социального выбора, то бессмысленно изобретать...некие магические рецепты остановки событий в регионе Восточной Европы» (Из выступления А. Н. Яковлева на Пленуме ЦК КПСС. «Правда», 1990, 8 февр). Повторяться может одно слово с особой смысловой нагрузкой: «Это правда, что сегодня историческое время. Сегодня мы, как тот богатырь в сказке, выбираем единственно верный путь, другие дороги – гибель. Мы его выбрали, этот путь. Сегодня история дышит рядом с нами» (Из выступления М. А. Ульянова на XIX партконференции). Традиционные тропы и фигуры, таким образом, служат своеобразными детонаторами, взрывающими инерцию слушания.

Мы переживаем сейчас уникальную ситуацию, когда буквально каждый день приносит богатейший материал для изучения воздействия публичной речи на аудиторию, увеличивающуюся подчас до населения всей страны. Огромна роль слова в жизни человеческого общества. Еще Николай Гумилев писал:

«В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города».

В политически нестабильном обществе неосторожное слово действительно может сыграть роль спички, подпесенной к пороховой бочке. Но, с другой стороны, слово может стать началом всеобщего примирения, может вдохновить, подвигнуть на певидапные свершения. И, как никогда, это слово должно быть сегодня умным, точным, убедительным, должно гасить страсти, а не разжигать их.

Смоленск

Евфимий Федорович Карский

1861—1931

М. Н. Преображенская,
кандидат филологических наук



Отмечая 130 лет со дня рождения Е. Ф. Карского, мы прежде всего вспоминаем его фундаментальное исследование «Белорусы», которое современники ученого, его знаменитые коллеги, оценили следующим образом: «Замечательный труд Е. Ф. Карского подвел итог не только многолетним трудам самого автора, но вообще всему научному исследованию белорусской речи. Е. Ф. Карского можно по справедливости считать осно-

вателем белорусского языкознания и белорусской филологии» (из Записки, которую подписали академики А. А. Шахматов, В. Н. Перетц, А. И. Соболевский, Н. А. Котляревский, представляя Е. Ф. Карского для избрания членом Российской Академии наук). Признание Е. Ф. Карского основателем белорусского языкознания и филологии удерживается в славистической науке до нашего времени.

Биография Евфимия Федоровича Карского — типичный путь ученого из среды разночинной интеллигенции России. Он родился 1 января 1861 года в деревне Лаша Гродненского уезда Белоруссии в семье сельского учителя. После начального духовного училища (бурса) и семинарии в Минске Е. Ф. Карский поступает в Цейкинский историко-филологический институт. Студентом он успешно работает под руководством известных ученых — Р. Ф. Брандта и М. И. Соколова, тогда же появляются в печати его первые публикации записей языка и фольклора белорусов. Окончив институт (в 1885 году), Е. Ф. Карский восемь лет служит учителем гимназии в Вильно, одновременно изучает древние рукописи в архивах города и, выезжая в деревни, продолжает

изучение местных особенностей языка и культуры белорусского народа. Работая учителем, Е. Ф. Карский создает гимназический учебник «Грамматика древнего церковнославянского языка сравнительно с русским», который выдерживает 19 изданий (последнее — Сергиев Посад, 1919 год).

С 1893 года Е. Ф. Карский — преподаватель, а затем профессор высших учебных заведений России. Чтение основных университетских курсов он сопровождает напряженной исследовательской работой в области славянской филологии. Ученый изучает фонды древних рукописей в библиотеках и архивах светских и духовных учреждений. Его деятельность проходила во многих городах: Вильно, Киев, Варшава, Ростов-на-Дону, Харьков, Петербург, Москва. Е. Ф. Карскому присуждаются ученые степени магистра (Киев, 1893 г.) и доктора филологии (Москва, 1896 г.). Исследования Е. Ф. Карского в области славянской филологии, истории культуры и этнографии неоднократно отмечаются научными премиями. В октябре 1916 года Е. Ф. Карский впервые от Белоруссии избирается действительным членом Российской Академии наук. Таковы внешние вехи научного пути выдающегося ученого своего времени.

Ученый такого масштаба, как Е. Ф. Карский, естественно, был в курсе современных ему передовых теорий и методов исследования. В области языкознания в это время были ведущими концепции младограмматиков. Е. Ф. Карский хорошо представлял себе состояние научных разработок и актуальные задачи филологии в своей стране. Развитие восточнославянского языкознания постоянно требовало существенного расширения фонда исследуемых источников. Развернулась работа по привлечению нового достоверного материала из текстов древних памятников письменности не только духовного, но и светского, в частности делового, содержания; крупнейшие ученые обратились к сбору сведений о местных особенностях народной речи, в результате появляются в печати специальные труды по диалектологии; у филологов возрастает интерес к материалам смежных наук — истории, этнографии, археологии. В трудах Е. Ф. Карского прослеживается последовательное стремление к комплексному охвату всех этих аспектов гуманитарных знаний. Такая установка определила ведущее направление его исследовательской деятельности. Она же обеспечила непреходящую ценность, обстоятельность и надежность материала и множества конкретных фактов, на которых построены его труды.

Занимаясь изучением памятников славянской письменности, Е. Ф. Карский работал с оригиналами древних рукописей и со

старопечатными книгами. В результате выходят в свет его исследования по истории языка восточных славян, а также его критические разборы и рецензии на выходящие из печати труды и издания древних текстов. Кроме того, Карскому принадлежат образцовые публикации древнерусских летописей и других памятников письменности восточных славян. Е. Ф. Карский считал, что публикации текстов памятников письменности должны содержать такие научные описания и комментарии, которые позволили бы исследователям избегать в работе непосредственных обращений к оригиналам. В своих описаниях он дает тщательный анализ состава рукописи по содержанию, характеристику всех лингвистических уровней языка исследуемого текста — фонетических черт, грамматики (в том числе и синтаксиса), а также словаря. Его интересуют особенности начертания букв, употребления строчных и пядстрочных знаков, лигатуры, украшения, заставки, качество переплета и другие детали, необходимые для палеографического анализа. Эта сторона деятельности Е. Ф. Карского способствует выработке высоких эдичионных требований к изданиям древних памятников письменности славян.

Особо следует отметить заслуги Е. Ф. Карского в области палеографии: его труды «Очерк славянской Кирилловской палеографии» (Варшава, 1901) и «Славянская Кирилловская палеография» (Ленинград, 1928; переиздана в 1979 году под ред. В. И. Боровского) и теперь еще используются как руководство в работе историков славянских языков. Весьма ценным дополнением к этим трудам являются «Образцы славянского Кирилловского письма с X по XVIII в.» (Варшава, 1901, 1902, 1912), в котором фототипическим способом воспроизведены целиком или в отрывках многие памятники древнеславянской и древнерусской письменности. Е. Ф. Карский подготовил к печати и отредактировал первые выпуски широко известного и продолжающегося в наши дни издательского предприятия «Полное собрание русских летописей». Эти выпуски посвящены изданию рукописи Лаврентьевской летописи, в составе которой Повесть временных лет и Суздальская летопись. Кроме того при участии Карского осуществлены публикации ряда других ценных памятников, например, рукописного сборника XV в. (Летопись Авраамки), Листки Ундольского (отрывок евангелия XI в.), древнейшего полного списка «Русской правды» и др.

Е. Ф. Карскому принадлежит большая заслуга в развитии восточнославянской диалектологии. Он постоянно изучал особенности речи крестьян Белоруссии, Украины и России, используя любую возможность для получения новых материалов. С конца

XIX века к сбору таких сведений широко привлекались энтузиасты-любители из числа представителей образованной части общества, особенно сельские интеллигенты. Для руководства этой работой учеными составлялись вопросники и программы. Собранные материалы о фольклоре, о местных этнографических особенностях и языке деревни регулярно публиковались в филологических журналах. Е. Ф. Карский был одним из организаторов этой работы. Он вел обширную переписку с собирателями, редактировал и готовил к публикации присылаемые материалы, помещал в печати рецензии и методические разработки, добываясь повышения научной ценности создаваемого фонда данных о местных разновидностях языка. На протяжении многих лет Е. Ф. Карский использовал каждую возможность для личного знакомства с народными говорами. Он постоянно выезжал в экспедиции, записывал диалекты при посещении отца и других живших в деревне родственников, наблюдал речь окружающих людей. Таким образом Е. Ф. Карский составил весьма полное для своего времени представление о диалектных особенностях восточнославянских языков. Эти сведения послужили основой для книги «Русская диалектология. Очерк литературного русского происхождения и народной речи великорусской (южновеликорусских и северновеликорусских говоров), белорусской и малорусской (украинского языка)» (Л., 1924). В этой книге наиболее полно отражены сведения по говорам западных территорий восточнославянских языков. Е. Ф. Карский поддерживал идею лингвогеографического изучения диалектов, ему принадлежит составление предварительных вариантов карты территориального распределения говоров Белоруссии.

Е. Ф. Карского особо интересовали проблемы разграничения и взаимовлияния родственных восточнославянских языков. Он пытался выявить комплексы различительных черт для каждого языка, используя данные памятников письменности, диалектологию, сведения из других славянских языков, из прибалтийских языков и из языков соседствующих или контактировавших в прошлом с восточными славянами. Следует напомнить, что наше современное представление о том, что группу восточнославянских языков составляют три самостоятельных национальных языка (русский, украинский, белорусский), сложилось в славистической науке лишь к концу жизни Е. Ф. Карского. Официально эти языки рассматривались как один русский. В свете этого обстоятельства научные интересы Е. Ф. Карского были весьма актуальны, а его труды содействовали развитию национального самосознания, в первую очередь белорусского народа.

В своих лекциях и статьях Е. Ф. Карский касался также вопросов сложения и современного состояния литературных языков русских, украинцев и белорусов. Но ведущими направлениями в его научной деятельности были проблемы исторического языкознания, диалектология и культура восточных славян.

При изучении наследия Е. Ф. Карского невольно создается впечатление о некоторых чертах личности ученого. Поразительна продуктивность и многогранность его научной деятельности, свидетельствующие о целенаправленности, напряженности и очень четкой организации работы. Надо подчеркнуть, что именно установка на объективное и всестороннее знание истории, культуры и языков восточных славян позволила Е. Ф. Карскому выделить самостоятельную линию развития собственно белорусского народа и его национального языка.

Е. Ф. Карский не был замкнутым кабинетным ученым. Много времени и сил он уделял так называемой научно-организационной работе, и, по всей вероятности, пользовался большим уважением среди своих коллег. Так, он был выборным ректором Варшавского университета (1905—1910 гг.), редактором крупнейших филологических журналов России, в том числе знаменитого журнала «Русский филологический вестник», членом Президиума Академии наук, директором музея антропологии и этнографии, членом многих научных обществ.

Е. Ф. Карский деятельно интересовался вопросами просвещения и культуры родной Белоруссии. Он был председателем комиссии по открытию в Минске Белорусского государственного университета и без колебаний в 1921 г. подарил этому университету свою богатейшую библиотеку, которую с большим трудом вывез из Варшавы в 1919 году.

Замечательной чертой Е. Ф. Карского была своего рода потребность делать общим достоянием добытые им в напряженном труде опыт работы и обширные конкретные знания. В каждом из направлений своей научной и педагогической деятельности он создавал труды, которые служат все новым и новым поколениям ученых. До сих пор неисчерпаемым источником разнообразных сведений о расселении, истории, этнографии, фольклоре и языке белорусов остается его обобщающий труд «Белорусы», о котором академик В. М. Лянунов написал, что равный ему «по обстоятельности едва ли найдем в области изучения других славянских народов...» и далее: «Всякий белорусовед и всякий историк славянских языков и русского в особенности должен иметь под рукою прекрасный труд Карского...»



В 1991 году исполнилось 105 лет со дня рождения А. М. Селищева — ученого-слависта, чей широчайший круг интересов распространялся на славянскую культурологию, литературу, историю, диалектологию, сравнительную грамматику славянских языков, историческую диалектологию, языкознание, балканистику, палеографию, топонимику. А. М. Селищев — ученый и личность национального масштаба. Он прошел путь от подручного пекаря до профессора университетов, составлявших гордость дореволюционной России — Казанского, Иркутского, Московского, в 1929 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, являлся членом многих зарубежных научных обществ.

Необычайно богат педагогический опыт А. М. Селищева. Его ученица доцент Е. А. Василевская так вспоминала А. М. Селищева-лектора: «Вот он стоит в огромной аудитории педагогического института имени В. И. Ленина и читает лекцию о деятельности первоучителей Кирилла и Мефодия. Он говорит просто, убедительно, без всякого стремления блеснуть, риторически украсить свою речь. Лекция его была так логично построена, так безукоризненно прочитана, что затихшая аудитория студентов-первокурсников, впервые слушающая такой сложный курс, как старославянский язык, впервые соприкасающаяся с глубинами лингвистической науки, не дыша, как замороженная, смотрела на Афанасия Матвеевича, боясь пропустить хоть один пример, боясь потерять хотя бы слово из этой замечательной лекции» (Василевская Е. А. Афанасий Матвеевич Селищев. Биографический очерк. Селищев А. М. Избранные труды. М. 1968. С. 11). Среди учеников А. М. Селищева, прославив-

ших созданную им школу, член-корреспондент АН СССР Р. И. Аванесов, профессор С. Б. Бернштейн, написавший об учителе книгу, профессора С. А. Копорский, П. С. Кузнецов, Н. П. Кравцов и другие ученые.

В огромном наследии Селищева-слависта и балканиста на фоне широчайшего круга проблем не померкли его книги о современном русском языке. Эти работы чрезвычайно интересны не только для специалистов-русистов, но для всех, кого занимает вечная проблема сопряженности судеб языка с судьбами народа.

Не все из этих работ доступно читателю. Некоторые книги А. М. Селищева издавались давно и маленькими тиражами, а поэтому представляют собой библиографическую редкость. Другие не переиздавались по экстралингвистическим причинам. Книга «Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)» представляет собою результат наблюдений «над языковой деятельностью и обстоятельствами послереволюционного периода». Цель книги, как сформулировала ее сам автор, — «осветить различные стороны языковых переживаний последних лет» (с. 3). А. М. Селищев сформулировал и разграничил общелингвистическое значение результатов своих наблюдений и значение сугубо практическое, актуальное в плане языковой политики: «...результаты моих изучений... указывают на различные отклонения от норм общерусского литературного языка и на условия, обстоятельства и последствия этих отклонений <...> Для целесообразного и умелого пользования этим языком необходимо принять во внимание указанные отклонения, в особенности те, которые не являются необходимыми или важными ни для одной языковой функции: ни для общения, ни для выражения эмоциональности, ни для называния» (с. 3).

Предлагаем вниманию читателей отрывки из книги А. М. Селищева «Язык революционной эпохи», опубликованной в Москве в 1928 году и с тех пор не переиздававшейся.

О. Л. Дмитриева,
кандидат филологических наук



ЯЗЫК РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД РУССКИМ ЯЗЫКОМ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

1917—1926

А. Селищев

Общий характер языковой деятельности революционного времени

Революция вызвала сильнейшее движение в русской общественной жизни, в различных слоях населения России. В эти годы в силу разнообразных общественных условий происходят весьма интенсивные отношения среди населения, преимущественно в городах. А в связи с этими движениями и отношениями происходит весьма энергичная языковая деятельность: выразить свое отношение к происходящим событиям, поделиться с близкими лицами своими переживаниями, обсудить те или иные вопросы, подействовать на чувство и волю отдельных лиц и целых групп — все это вызывало усиленную речевую деятельность в среде населения, охваченного революционным движением. Форма речи, связанная с революционными явлениями, чаще всего является в

виде ораторской или ораторско-диалогической речи. Митинги, *массовки*, различные собрания, агитационные пункты — вот где обычно раздается она. Реплики слушателей вносят некоторые элементы диалога в речь оратора, отвечающего передко на отдельные замечания, раздающиеся из среды собравшихся. Происходят *съезды*, заседают *конференции*, *плenums*, *коллегии*, *бюро*, *ячейки*, — и тут говорятя речи по текущим вопросам, в связи с очередными *кампаниями*, — речи не только интеллектуального значения, но и эмоционально экспрессивного. Эти речи с их характерными чертами служат образцами для прочих революционных деятелей. Сильные централизованные связи, преимущественное значение центра, его авторитет, строгость дисциплины, требующей *безоговорочного* выполнения *директив*, идущих из центра, от *верхушки*, — все это отражается на форме общественно политической деятельности, на ее единообразии. Иногда это единообразие ведет к отрицательным результатам. Так, «бич нашей *культурной работы* — это *штамп*» («Пр.» № 86. 1926). Вместе с этим происходит весьма энергичное распространение и языковых черт авторитетных представителей *командных высот*. Некоторые особенности лексики, синтаксиса, словообразования быстро распространяются в *партийной* и *советской* среде. Произносятся речи, ведутся беседы и разговоры на темы по текущим вопросам, — ведутся в духе выставленных центром *тезисов* и *лозунгов*, с употреблением некоторых одинаковых слов и словесных сочетаний. «3—4 года назад в наших газетах свирепствовал Ллойд-Джордж. Он был популярнее в нашей прессе, чем все самые популярные из советских вождей. Ллойд-Джордж — это было не собственное, а собирательное имя существительное. Это был — и Мильеран, и Вильсон, и Носке, и Муссолини, и Пилсудский, — одним словом, *«хищники империализма»*... Затем была объявлена война Ллойд-Джорджу во имя сельхозналога, во имя борьбы с неграмотностью, во имя кооперации и во имя... курицы» («Пр.» № 101. 1926). ...«*Даешь повышение производительности труда!* — прогремела Москва, и этот клич покатылся по всей Эс-эс-эс эрия. Зашевелились все, начиная с *фабзавкомов*, *месткомов* и кончая *редколлегиями степных газет*» («Студ.-Пролет.» № 6—7, 70. 1924). «Сейчас у нас модное слово — *диспропорция*» («Пр.» № 81. 1926). «Теперь все больше насчет *режима экономии*» («Пр.» № 89. 1926). <...>

На заводах у станков
Песнь поют знакомую,
И мотив везде таков:
Жми на экономию!

Эх, зажаривай, трехрядка,
 Песенку знакомую.
 Пыньче новые порядки —
 Все за эконопню.

(«С. Комс.» № 22. 1926).

Быстро создаются речевые шаблоны, изменяются или утрачиваются те или иные специфические оттенки значения слов и конструкций, распространяющихся в широкой партийной и советской среде. «Козуткипу совсем не до этого. В голове не выдохлось вчерашнее: в ичейке все перебесились. Говорили шесть часов подряд, а о чем — и понять нельзя... — Здесь, мол, без разговоров обойтись нельзя, вопросы государственные, и во всем, значит, *увязка* нужна... Ох, уж эта увязка Гыхону! Дело не к делу, а везде увязку примажут. Совсем еще недавно *смычкой* уши прожуужжали, а теперь за увязку взялись, а поближе посмотришь, как раз ни смычки, ни увязки не сыщешь» (Коробов. «Террор и Революция». «Окт.» № 1. 1925).

Необходимой темой собраний в последние годы были сообщения о *международном положении*. Речи докладчиков на эту тему представляют много слов и словесных сочетаний, типичных для времени и переживаемых обстоятельств. «До сих пор еще у многих работников не вывелась привычка созывать большие собрания (в деревне) и проводить митинги. „Конек“ на всех таких собраниях — доклады о международном и внутреннем положении. Для докладчика говорить с чужого голоса хоть целые часы — прием самый удобный, особенно у кого память хорошая. Да оно и казисто... А на самом деле заезжаные, пустозвонные и высокопарные фразы о буржуазии и пролетариате, об империализме, социал-предателях, коммунизме, об обманщиках-попах и т. п. крестьянам уже надоели» («Студ.-Пролет.» № 4. 1924). Речь многих таких докладчиков не воздействует ни на ум, ни на чувство слушателей. <...>

Коммуникативная функция речи

<...> Российские революционеры, как в свое время и французские, не стесняются употреблять в своей речи слова и выражения, считавшиеся фамильярными и грубыми. В устной и письменной речи последних лет в изобилии встречаются такие особенности. Эта манера находит себе широкое распространение в советской общественности, в особенности в молодом поколении. Обстоятельства и условия возникновения этой манеры, полагаем, были следующие. В революционных кружках прежнего времени

действовало значительное количество студенческой молодежи, среди которой распространены бывают некоторые черты независимости от общих норм и форм бытового уклада и общепринятого этикета. (Так бывает в студенческой среде и других стран.) Бытовому буршеству соответствовали и языковые явления: некоторая грубоватость и откровенный реализм значения слов и словесных сочетаний. Эта бытовая и языковая манера еще значительнее отражается в революционной среде. Протест против условности бытовых приличий и соответствующие языковые переживания вели к упрощению языковых передач, к более реальным по значению терминам, к более откровенной, непосредственной передаче настроения, без стеснения в выражениях,— если нужно было выразить гнев или презрение по отношению к противнику или раздражение *уклонами* своих товарищей. Самый характер некоторых авторитетных представителей коммунистической партии утверждает грубоватость языковой манеры. «Когда тов. Молотов прислал мне эту статью,... я ответил грубой и резкой критикой. Да, товарищи, человек я прямой и грубый, это верно, я этого не отрицаю»,— говорил И. В. Сталин на XIV партийном съезде («Пр.» № 296. 1925).

Вращаясь в среде широких масс населения, революционеры употребляют кренкие словечки и выразительные сочетания языка деревни, фабрики, низших слоев населения города.

Склонность коммунистических деятелей к крепким словам и выражениям получила у их противников название «заезжательства». Представители коммунистов согласны с этим определением. Показательна в этом отношении статья Б. Волина: «Большевики-заезжатели» («На посту», № 4). Тут же дано несколько образцов этого словесного заезжательства со стороны видных большевиков. <...>

Описание комсомольского собрания. «Есть у нас такой секретарь нашей организации Свистякин. Прическа у него буйная, а кепка кожаная и всегда она у него на затылке торчит... Свистякин чуждые элементы в составе какой-то девчонки в союз протаскивает. Вот попробуйте *голоснуть* против или высказаться — попробуйте: так *покроет*, что своих не узнаете.— Вы,— кричат, *бузу* разводить! *Склоки* подымать!... и как пойдет *чесать*: — *Шпана, трепачи, бузотеры, на легком катере*...— Два часа мог так *крыть* и без единой передышки, все равно как машина... («К. Пр.» № 41. 1926). <...>

Большевицкое «заезжательство» в особенности резко выражается по отношению к противникам коммунистической партии и к лицам своей среды, нарушающим партийное единство. Три врага

у русских коммунистов: активные представители других социалистических и демократических партий — «соглашатели», русская эмиграция и дипломатия других государств. По их адресу направлены самые «крепкие» словечки коммунистических деятелей, — словечки, вызванные теми или иными выступлениями противника. Эти слова должны были выразить с особой силой всю непосредственность настроения коммуниста. Но вследствие частого употребления эмоциональная значимость некоторых из этих слов и выражений утрачена: они стали употребляться, как обычные термины по отношению к тем или иным лицам и явлениям. Напр., если речь заходит о русской эмиграции, то она называется обычно *белогвардейская сволочь*; если говорят о социалистско-меньшевиках, то это говорят о *социал-изменниках, социал-предателях*; противо-коммунистические мероприятия того или иного правительства это — *махровая реакция империалистической клики*.

Борьба, война и язык

В языке революционных и советских деятелей очень много терминов военного происхождения. Эти термины обусловлены самим характером программной деятельности революционеров: борьба за освобождение трудящихся от эксплуататоров, от гнета правительственного режима. «Борьба», «беспощадная борьба», «решительный бой», «армия», «авангард», «линии», «ряды», «смотреть», «знамя» («красное») и др. испещряют речь революционных деятелей 1905 и последующих годов. <...>

Раздается нередко формула команды: *равнение на...* Напр., в последнее время одним из лозунгов было *равнение на XIV съезд*. Говорят о *равнении* и в других случаях: — Союз уже выработал образцы, по коим должна *равняться* вся союзная пресса («М. Лен.» № 100. 1925). Ленинградская организация, по которой мы привыкли *равняться*, оказалась в одиночестве («Пр.» № 297. 1925).

Многочисленные *фронты* являются в области общественно-культурной жизни. — *Боевой фронт* труда, хозяйственный фронт, продовольственный фронт, фронт просвещения, фронт учебы [о них много говорится и пишется]. — *С фронта* огня и крови на фронт плуга и нивы («Бедн.» № 825. 1921). <...>

Постоянно происходят *кампании*. Их бесчисленное количество. — *Сельскохозяйственная кампания* («Бедн.» № 827. 1921). Проведение *кампании* выборов в селькомы («Бедн.» № 827. 1921). Сейчас по всей стране идет имеющая огромное политическое значе-

ние кампания оживления советов («Изн.» № 100. 1925). <...>

Не только в военно-морских делах, но и в политической и общественной жизни *берут, ставят, держат курс* на что-либо или на кого-нибудь. Такие сочетания (*держат, брать курс на...*) входят в обиходную речь населения. — *Взять курс* на еще более широкое вовлечение их в составы советов («Изн.» № 268. 1925). *Курс на* крестьянку («Изн.» № 92. 1925). *Держать курс на* индустриализацию страны («Пр.» № 295. 1925).

Из военно-морского обихода вошло не только *держат курс на...*, но и некоторые слова из матросского языка. Распространению этих слов способствовала та значительная роль, которую играли матросы в первые годы революции. Чрезвычайно интенсивным оказался флотский командный термин *даёшь!* Он стал употребляться по всей России в разных слоях населения. Изменилось и значение этого восклицания. *Даёшь!* не только выражает настойчивое желание, но и результат в достижении: «хорошо». В состав лозунгов весьма часто входит *даёшь!* — Рабочий, *даёшь* паровоз! Крестьянин, *даёшь* фронту хлеб! (из лозунгов 1919–1921 гг.). Рожь *даёшь* фронту! (Безыменский, Комсомолия).

Партия. Отражение ее программы и деятельности в языке

<...> Различные стороны партийной деятельности отражаются и в языке. Особенности партийной речи распространяются не только в среде партийной, но и в прочем населении страны. <...> Термины *партия, партийный, партиец, партийка* (женщина — член партии) приобрели значение синонимическое с *коммунистическая партия, коммунистический, коммунист, -ка...*

Другие партии, находящиеся за пределами СССР, враждебно относящиеся к программе действий коммунистов, клеймятся последними самыми «крепкими», наиболее эмоционально-насыщенными словами и выражениями: ренегаты, соглашатели, социал-предатели, социал-изменники, обнаглевшая шайка слуг капитализма, лакеи буржуазии, прихвостни, Иуды и др., напр.: «Меньшевизм был всегда гнусным подголоском, подпевалой в буржуазном хору. То, что басом кричит банкир-хозяин, то голосом кастрата повторяет меньшевик, эта презренная развидиность политического служающего и лакея» («Пр.» № 81. 1925). ... Кличка *меньшевик* — это ругательная кличка, наносящая оскорбление. «Свидетель-рабочий Шеметов говорит: — И чего Баладин оскорбляется?! Разве один Ульянов его обозвал? Баладина на общих

собраниях величали не иначе, как *меньшевиком и шкурником!*» («Пр.» № 79. 1925).

Слова *соглашатель, социал-предатель* широко распространены в партийной и рабочей среде.

Единство партии — сущность ее. Это единство должно быть *твердым, железным, стальным*. Сравнение со сталью весьма часто употребляется по отношению к партии. Одним из популярных эпитетов партии — *мололитная, монолитность*. — Тяга к *железному* сплочению всех рядов авангарда пролетариата живет в каждом большевике-ленинце («Пр.» № 297. 1925). Наша коммунистическая партия должна быть *твердой, железной, ленинской партией* («Пр.» № 298. 1925). Под знаменем ленинской партии, под правильным руководством *твердокаменного ЦК РКП(б)* мы строим и построим социализм. («Пр.» № 298. 1925).

Партия стремится пропагандировать свои положения. *Агитация, пропаганда* занимают весьма важное место в деятельности коммунистической партии. *Агитация, агитировать, агитатор, агитпропаганда, агитпропщик, пропаганда, пропагандист, агитатор-пропагандист, политпросвет, политпросветчик* и другие термины относятся к этой деятельности. (...)

Термины для проведения пропаганды: *обрабатывать к.п., обработка к.п., стягивать, вовлечение, открыть глаза* кому-нибудь, *развернуть, разворачивать* работу по пропаганде. — Имеются желающие вступить в партию — 25 человек. Ячейки относятся к ним осторожно, *предварительно изучают их, обрабатывают, стягивают* в практическую работу («Пр.» № 292. 1924)... Мы должны держать курс на *вовлечение* в нашу работу беспартийных («Пр.» № 295. 1924). Мы *открыли глаза* узбечкам (из речи работницы). *Развертывание* в деревне работы комсомола («Изв.» № 122. 1925). *Разворачивание* большевистского лозунга, *разворачивание*, *сообразное* во времени и темпе с ходом революции («Изв.» № 270. 1924).

Отрицательное отношение компартии к религии вызвало *антирелигиозную пропаганду*. Ее ведут *антирелигиозники*. Происходят «совещания *антирелигиозников* при ЦК ВКП(б)» («Пр.» № 104. 1926), *антирелигиозные процессии и читки* и др. В связи с этой пропагандой возникло *попоедство*. — Посвятить Рождеству стенгазету, избегая при этом *попоедства* («С. Комс.» № 25. 1925).

Эмоционально-экспрессивная функция речи

Эмоционально-экспрессивная функция речи имела огромное значение в революционные годы. Пафос революционера, высокие идеалы братства, равенства, свободы, угрозы врага, категорические приказы в обстановке решительной битвы — все это выливалось в соответствующих формах речи. В сильной степени эмоционально-насыщенные речи раздавались на митингах, на собраниях, в напряженные моменты общественно-политических и партийных заседаний. <...>

Эмоционально-экспрессивная речь сопровождалась необходимым дополнением — сильной жестикуляцией и выразительной мимикой. Резкая жестикуляция становится затем необходимым элементом речи каждого коммуниста, хотя бы приходилось вести беседу без особой экспрессии. «На кафедру взбирается рабочий, тоже такой же исхудалый, законченный, весь обтрепанный, и говорит, тихо мотая руками, сгибаясь вдвое, заливаясь поминутно и сейчас же пригребая к себе руками, точно это помогает выбраться из затруднений» (Серафимович. Впечатления).

Характерной особенностью социально-языковой жизни последних лет является быстрота и интенсивность распространения различных языковых черт, исходящих от авторитетных коммунистических и советских деятелей. Но вместе с этим распространением происходит неизменно ослабление и утрата их эмоциональной значимости. Это ослабление и эта утрата отражаются на всех явлениях речевой эмоциональности. Быстро создаются речевые шаблоны вместо недавних форм эмоциональности. Речь с шаблонными штампами не возбуждает прежних настроений. Это — «трескотня». Раздаются голоса осуждения речевой трескотни. «Чрезмерно уделяется место политической агитации на старые темы — политической трескотне» (Лен. XV, стр. 482). «Не изжили мы еще митинговщины в письмах, пышных речей о братстве и солидарности» («К. Пр.» № 100. 1925). <...> «Помеьше шума, помеьше трескотни, помеьше словоблудия, побольше дела» (Бухар.).

Одним из видов экспрессивно-императивного воздействия речи являются лозунги. Они в изобилии раздаются в коммунистической и советской среде. Необходимым украшением стен клуба, столовой, читален служат лозунги (плакаты с лозунгами). При процессиях, манифестациях, шествиях на развевающихся красных и бордовых знаменах тоже паниты или вышиты лозунги.

Но сущность этих лозунгов не воспринимается остро. Это — речевые знаки, приличествующие данному обстоятельству, моменту. (<...> Торжественные речи обычно заканчиваются двух- или трехкратными *да здравствует* (то-то или такой-то). Но эта концовка представляет только формальный элемент: так надо кончить речь, а значение тут не важно. Бывавшие на торжественных собраниях рабочих знают, каким образом произносятся эти *да здравствует...:* оратор-рабочий кончает речь-высказывание словами, находящимися перед «да здравствует». Переходя к этим последним формально-заключительным словам (*да здравствует...),* он произносит их скороговоркой, нередко в полуоборот к собранию, направляясь к выходной двери.

Представление величия задач революции, трудностей в осуществлении их, угроз и наступлений противника — все это отражается в частом употреблении форм превосходной степени, а также эпитетов и сочетаний для величественности, колоссальности. С течением времени эти формы, эпитеты и сочетания утрачивают до некоторой степени свое эмоциональное значение и являются обычной принадлежностью речи революционного человека.

1) Превосходная степень. *Широчайшие массы, тягчайшие [испытания], самым решительным образом, колоссальнейший [сдвиг], самые гнусные [инсинуации], величайший... и др.* — Сдвиг в деревне *колоссальнейший* («Пр.» № 93. 1925). Это, вы, Бернад Шоу, Чемберлены и Макдональды, «полудикие», а мы — *культурнейший народ* (Зиновьев. «Изв.» № 19. 1925)... Развернуть *широчайшую* кампанию по разъяснению и практическому проведению решений апрельского пленума ЦК ВКП («Изв.» № 107. 1926)... Мы все заняты сейчас *колоссальнейшим* строительством, *колоссальнейшей* работой в деле строительства социализма («Пр.» № 297. 1925). Надо навести *строжайший, зверский режим* экономики (Сталин. «Пр.» № 89. 1926). Выступление одного из *наиветственнейших* членов этого политбюро («Пр.» № 295. 1925).

Сочетания для выражения величественности. — *Нигде в мире, нет в мире, весь мир* (весьма часто), *мировой масштаб.* — Тов. Томский особо коснулся культурной работы, которая ведется у нас в таких размерах, как *нигде в мире* («Пр.» № 297. 1925). *Нет в мире* страны, где бы сейчас была такая свобода, как в России (Лен., Такт., стр. 301). — Сегодня 1-е мая! В этот день у рабочих *всего мира* бьется одно сердце («Проклам.» 156). Мы партия пролетариата, освободительница *всего мира* («Пр. Мол.» № 2. 45).

Революционные деятели по мере своих сил прибегают для выражения эмоций к образной речи. Образы мстителя за угнетенных, образы железа и крови, хищного зверя, гидры, гидры с миллионом щупалец, грандиозного пламени, с вихрем бушующего по всему миру, представляются в речах революционных деятелей.— Со времени 1871 г. Европа хорошила революцию, она забыла баррикады восстаний. Но, вот, с другого, дремавшего веками, берега российский пролетариат подал Востоку и Западу сигнал к новому бою. Пролетариат скрещивал руки — становились поезда, прерывались почта, телеграф, уныло и молчаливо глядели вверх бездымные трубы, газлы огни городов, блуждали в морях восставшие плавучие крепости, демон смерти носился над Свеаборгом, Кронштадтом, шел многодневный уличный бой в Москве. Он всколыхнул Тегеран, он будил упершиеся в вечно синее небо Стамбульские мечети, от его движения дрогнули высокие стены Китая... (1913. «Проклам.» 21). Царское правительство не дало нам амнистии. Мы тоже ему ее не дадим. За горло его и коленом ему на грудь («Проклам.» 98). Пролетариат восстанет, пролетариат возьмет буржуазию за горло; он уже протягивает для этого руку (Зиновьев. «Пр.» № 67. 1926). Забрызганному в горячей крови алчному капиталистическому зверю противостоит молодая еще, свежая, но уже могучая сила колониального возмущения и протеста («Пр.» № 139. 1925).

Языковые новшества на фабрике и заводе

Фабрики и заводы, организации рабочих и их представители принимали активное участие в революционных событиях. Рабочий класс занимал и занимает исключительно важное положение в программе революционных деятелей. Многочисленные нити экономической и политической жизни связывают фабрику с революционным центром. Интенсивность общения представителей рабочих с революционными деятелями и организациями отражается и на языке рабочих, по крайней мере активных участников в общественно-политической жизни фабрики и завода. Вместе с отдельными языковыми чертами проникает в их речь вообще тип общерусской литературной речи. Для ознакомления с этими чертами я производил свои наблюдения на фабричных собраниях рабочих бывшей Прохоровской мануфактуры на Красной Пресне, шелкоткацкой фабрики «Красная Роза» имени Розы Люксембург (быв. Жиро), замоскворецкой обделочной фабрики и завода «Серп и Молот» (б. Гужон). Наблюдения относятся к марту, апрелю и маю месяцам 1925 г. Данные, собранные мною, характе-

ризируют не обыденную речь рабочих, а ту речь, какой пользуются они в моменты обсуждения вопросов общественно-экономической и политической жизни. И еще одно ограничение. Эти данные относятся к речи активных рабочих. Речь пассивных членов рабочей среды представляет меньше новых черт, связанных с явлениями революционного времени. Наиболее полно отражается языковое воздействие типа образованной речи вообще и черт ее, связанных с революционным временем, на представителях более интеллектуально-развитой и более экономически-обеспеченной рабочей среды,— на металлистах. Речь многих рабочих-гужоновцев, выступавших в собраниях, представляла хорошую речь общерусского, литературного типа. Усвоены и некоторые стилистические особенности, свойственные современной ораторско-полемиической речи. Но все же от диалектических черт и эти ораторы еще не совсем освободились: остатки родной, местной речи отражаются и в звуках и в формах. (Некоторые рядовые гужоновцы еще не усвоили всех современных ходких слов и выражений. Так, напр., моему соседу на одном из собраний гужоновцев непонятно, что значит «голосовать список персонально».) Слабее воспринята литературная речь в среде рабочих и работниц мануфактурных фабрик. Значительные диалектические особенности представлены там в речи и таких активных общественных деятелей-рабочих, которые более 20 лет работают на московских фабриках. Один из рабочих,— член Московского совета рабочих и крестьянских депутатов, выполняет трудные обязанности, возлагаемые там на него («ума не постижимо!»), проводит много времени в общении с лицами, владеющими в достаточной степени литературной речью,— а все же речь этого деятеля-рабочего значительно пропитана диалектизмами и видоизменениями литературной речи. <...>

Ниже отмечены примеры языковых явлений революционного времени, усвоенных в рабочей среде, а также примеры изменения этих явлений и примеры диалектических особенностей. В скобках указано, к каким рабочим относятся примеры: Гуж.— завод б. Гужова; Кр. Пр.— Прохоровская мануфактура на Красной Пресне; Кр. Р.— фабрика «Красная Роза» имени Розы Люксембург; Обд.— замоскворецкая обделочная фабрика; Комс.— комсомол.

Из формы ведения заседания.— «Слово для доклада имеет товарищ Л.».

На собраниях *зачитывают* то или иное предложение, ту или иную резолюцию. Там дают выборным лицам определенный *наказ*. Выборные лица обязаны *отчитываться* перед собранием. «Разрешите *отчитаться* за 7 месяцев» (Кр. Пр.). «Наказ был выполнен полностью».

Президиум (или презюдум) предлагает «принять заслушанную резолюцию за основу».

Выступающие с речами, излагая или объясняя какое-нибудь дело, обычно говорят: «теньер *такое положение создается*, *такое положение создалося*, *вот как обстояло дело*».

Форма митингов теньер считается не подходящей. «Мы собрались не *митинговать*, как в 17-м и 18-м году, а конкретно указать...» (Гуж.).

Если собрание слишком затягивается, то со скамей слушающих раздается крик: «*Заключительное слово дайшь!*»

Многие рабочие и комсомольцы любят «константировать». Так (*констант-ировать*) они слышали и слышат в речах ораторов центральных партийных и советских организаций. <...>

Происходит *выявление* разных сторон фабрично-заводской жизни.— «*Выявление квалификации молодежи*» (Гуж.). «*Выявление активности*» (Гуж.). «Мы *выявили* [обнаружили] такие требования...» (Гуж.). «Можно *выявить* много *дефектов*» [Гуж.]. «Путем регулярной отметки нам удалось *выявить* таких ребят, которые не посещают собрания» (Комс.).

«Недостатки надо *изжить*». «*Изживем безработицу*» (Гуж.). <...>

Некоторые рабочие любят употреблять деепричастия независимо от норм литературного языка.— «*Приступая к работе в кассе не было ни копейки*» — когда [мы] приступали к работе, в кассе не было ни копейки (Кр. Р.). «Много недостатков *обрисовывалось* в стенгазете, часто *прохватывая* отдельных товарищей» (Кр. Р. Стенгаз. № 17. 1925). То же явление представляют рабочие и в других местах.

В деревне

Как отразились революционные годы в языке деревни? Какие языковые новшества появились там за последние годы? В какой степени произошло проникновение туда языковых элементов революционного времени вместе с соответствующими социальными явлениями? Значительно ли осуществляется в языке *смычка* города и деревни? — К прискорбию, на эти большой важности вопросы дать достаточно полный ответ пока невозможно за отсутствием надлежащих наблюдений над языком деревни. Мы располагаем только отрывочными сведениями, относящимися к некоторым из поставленных выше вопросов. Некоторый материал заключает в себе книга Я. Шафира: «Газета и деревня» (2-е изд. М. 1924). Я. Шафир производил свои наблюдения не с точки

зрения липгвиста-социолога, а с точки зрения газетного работника. <...> Один из существенных вопросов этого обследования был такой: насколько доступна газета в отношении языка пониманию крестьянина. Для выяснения этого вопроса Я. Шафир опрашивал крестьян, предлагая им для объяснения список слов и выражений и читая выдержки из газеты. Ответы крестьян были в большинстве случаев неудовлетворительны: крестьяне не понимали предлагавшихся им слов и выражений. «Ей-богу, перевод нужен» (стр. 34). Вот несколько примеров.— «Не понимаю, что такое *сугубо*, а то бы рассказал» (стр. 76). *Персонально* — случайно (стр. 28). *Игнорировать* — ч.-н. сделать (стр. 35). *Элемент* — выдающийся человек (стр. 48). *Наглость убийц* — это значит совсем убили, а не так, ранили там или как (стр. 39). *Совнарком* — 1) советский народный комитет (стр. 43), 2) это учреждение, какое — не знает (стр. 34).

Многое из словаря современного газетного языка не понятно и молодым красноармейцам. Так, многим из них неизвестен «*классовый враг*», «*показательное хозяйство*», «*официально*», «*нота*», «*ультиматум*», «*оккупация*», «*констатировать*», «*реклама*» («прокламация, газета, вроде «Правды», неправильное писание») и др.

Такие же указания представляют и другие наблюдатели. «Бю... бю... бюджет...ные э-э-элементы...: кре...крестьянского хо... хозяйства-во-от! [Читают крестьяне на выставочном плакате].— Одни понимают, что «бюджетные элементы» — это, когда пашут в совершенстве трактором, а на соху давно плюнули; другие, что это — такая костяная мука, перегар, вместо навоза; третьи сумрачно советуют: «Ты разбери, не иначе — коровья это болезнь» («Пр.» № 297. 1925).

В ряде случаев понимание неизвестного слова обусловлено ассоциацией с известным словом, случайно оказавшимся отчасти созвучным с неизвестным. Напр.:

Оккупация — откупить (Шафир, стр. 35); *декоративность* — дикое растение (стр. 48); *инициатива* — к.-п. национальность (стр. 48); *констатировать* — выщипать (кастрировать, стр. 51); *элемент* — это разговор такой есть; со мной бывают такие элементы (стр. 51); *навильсон* — старшее лицо, которое повелевает (стр. 72), *пленум* — плен (стр. 43); *подфронт* — против власти (стр. 73); *попустительство* — опустошение (стр. 57) и др.

Иногда значение слова обусловлено ассоциацией по смежности. Напр.: *показательное хозяйство* — шкаф (шкаф, в котором находятся книги или бумаги по показательному хозяйству. Стр. 52).

Значение новых слов бывает обусловлено реальным содержанием того предмета или явления, к которому относится данное слово. Напр.: «*категорический* — это у нас в конторе Тихон Иванович, когда, бывало, волнуется, уж всегда категорически говорит» (стр. 52).

Ультиматум — либо платите деньги, либо отдайте лошадь, либо я вас убью (стр. 55). *Регулярно* — срочно, окончательно (стр. 73).

Итак, представленные данные указывают, что деревне многое недоступно в понимании языка революционных и советских деятелей. Но все же, длинный ряд терминов последних лет усвоила и деревня. Многие из этих терминов представляют значение, отличное от того значения, с каким употребляется тот или иной термин в речи партийных и советских деятелей. Об условиях изменения значения было уже сказано. Главное условие — реальное содержание предмета или явления, называемого данным термином, — содержание, как оно воспринимается деревенской средой. В этом отношении важно обратить внимание на толкования тех или иных терминов, даваемых самими крестьянами. Слова, усвоенные деревней, относятся к предметам и явлениям, с которыми деревенскому жителю приходится иметь дело, — названия властей, правительственных и общественных учреждений села, деревни и ближайшего города и некоторых связанных с ними явлений.

Словарные новшества находят себе разный отклик в народной среде. Одни относятся к ним отрицательно. Это — нерусские слова, непонятные. Перевод нужен. «Эх, эти слова разные. Этим мы болеем душой. Словарь нужен. Жуешь, жуешь и ничего не поймешь». Так говорил один из крестьян. Политикой он «заражен» с 1905 г. Читал раньше «Русское Слово», «Биржевые Ведомости» и др. «Надо, чтобы ближе к нашему наречию, а то головкружение одно... К русскому духу приспособляться надо», — говорил тот же крестьянин (Шафир. Газета и деревня. Стр. 47, 48). «Это все нерусские слова, уху моему не милые, только шалтай-балтай теперь разводит нечего и торговаться из-за слов времени нету» (Федорченко. Народ на войне. Стр. 126). Но другие обнаруживают склонность к употреблению новых слов. «Очень я новые слова люблю. Только по простым делам не умею я их к слову сказать. Что ни скажу, все мимо» (Федорченко, стр. 126). Трудно привыкнуть к новым словам, а нужно. «Путаюсь я в новых словах, словно в бабьем платье — не привык. А что старых слов не хватает — верно» (там же, стр. 127). Тем не менее некоторые лица любят употреблять в своей речи слова и сочетания

городской, «образованной» речи,— употребляют вне норм этой речи. «Язык деревенский — красочный, яркий и образный деревенский язык — портится. Поговоришь со стариком,— сердце радуется. Речь искрится, цветет,— настоящая земляная речь. Послушаешь молодого,— удивляешься.— „Постолюк-постолюк“, „в общем и целом“, „констатируем“, „явный факт“ и прочая ненужная бессмыслица. А как обращаются с иностранными словами! К заседанию совета учительница принарядилась. Председатель сказал: — Анн Степановна сегодня в полном бюджете! — Я долго не мог понять, что значит: — Гражданин председатель, релизуй-ка мне слово... (в Зарайском уезде. «Изв.» № 111. 1926). «Это — прямой факт» (— «это верно»), — говорит старик в деревне Шишовке, Пошехонь-Володарского уезда, Яросл. г. «А это фсе одна мараль и больше ничего, а ты на деле покажи» — говорил другой обитатель той же Шишовки. А вот из письма одного старобрядческого деятеля в селе Старый Тарбагатай (Верхнеудинского уезда, в Забайкалье), от 14 марта 1925 г.: «Книги предлагаемые нужны, но *дело в следующем*: сложивается в нас голодовка...; в нас *слыхи циркулируют*»...

В числе проникших в деревню новых слов встречается в речи некоторых лиц и союз *ибо*. Один станичник-кубанец пишет в местную стенную газету: «Братва это не хорошо... так от братва нада в общественных зданиях не курит и не сорит а следит за честотой *ибо* от этого заболевают люди» (А. Божкович. Стенная газета в деревне // «Обновленная деревня». Сборник. Лг. 1925. Стр. 46).

СОКРАЩЕНИЯ

«Бедн.» — «Беднота» (М., газ.)

Бухар.— Н. Бухарин

«Изв.» — «Известия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР» (М.)

«К. Пр.» — «Комсомольская Правда» (М., газ.)

«Кр. Газ.» — «Крестьянская Газета» (М.)

«Кр. Мол.» — «Красная Молодежь» (М., журн.)

«Окт.» — «Октябрь» (М., журн.)

«Пр.» — «Правда»

«С. Комс.» — «Северный Комсомолец» (Ярославль, газ.)

«Студ.-Пролет.» — «Студент-Пролетарий» (Пермь, журн.)



Русские
Космографии
XI-XII
веков

А. В. Барандеев,
кандидат филологических наук

В истории русской культуры позднего средневековья весьма важное место занимают космографии — переводные рукописные географические сочинения, содержащие описание известных к тому времени территорий и государств. Несмотря на то, что космографии отражают донаучный уровень знаний человека об окружающем мире, они заключают в себе ценные сведения о формировании естественнонаучных представлений средневековой Руси. Само слово *космография* в эпоху средневековья и в более поздний период обозначало широкую совокупность сведений по астрономии, метеорологии, географии и геологии.

Одним из наиболее ранних географических сочинений такого рода является славянский перевод «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова — византийского купца, много путешествовавшего по Средиземному и Красному морям. Интересно, что своим происхождением его имя обязано исторической ошибке, поскольку современники знали Козьму прежде всего как путешественника и поэтому называли Индикопловом (плавателем в Индию),

хотя в Индии он никогда не был, но об этой стране, безусловно, знал. «Христианская топография» создана в первой половине VI века, а ее славянский перевод, получивший название Космографии, осуществлен на Руси не позднее XIII века и распространен впоследствии в более чем 90 списках, древнейший из которых датируется 1495 годом.

Длительное время, вплоть до XVIII века, Космография Козьмы Индикоплова была популярнейшим географическим сочинением. Она содержит интересные сведения об устройстве Вселенной, о звездах, морях и реках, об экзотических животных и растениях и о многом другом. Русский читатель мог получить из Космографии реальное для средневековья представление о далеких и неведомых странах: Эфиопии (Абиссинии), Китае (Сине), Индии, Цейлоне (Тапробане), хотя Космография отражала принятое в то время библейское объяснение происхождения мира. Популярность этой Космографии в значительной степени обусловлена наличием в ней прекрасных иллюстраций с изображением известных тогда стран света, восхода и захода солнца, редких растений и животных, библейских апостолов, Ноева ковчега и т. д. Большинство исследователей считают, что эти миниатюры сохраняют традиции древнейших греческих рукописей. Космография Козьмы Индикоплова была прекрасно издана фотолитографированным способом Обществом любителей древней письменности. В основу издания положен русский список XVI века (см.: Книга глаголемая Козьмы Индикоплова. СПб., 1886).

Начиная с XVI века переводы космографий становятся на Руси более регулярными. Среди географических сочинений этого периода выделяется Космография польского шляхтича Мартина Бельского, перевод которой был осуществлен в Москве в 1584 году, а наиболее раннее польское издание датируется 1550 годом. Примечательно, что эта Космография — первое польское историко-географическое сочинение, написанное не на латинском, а на польском языке, и данное обстоятельство могло способствовать широкому распространению списков ее перевода на русской почве.

Космография М. Бельского содержит статьи о польской и западноевропейской истории, а также один из наиболее ранних рассказов об открытии Америки, что представляло несомненный интерес для русского читателя. Наряду с этим в Космографии встречаются сказочно-фантастические сюжеты, например, о местностях, где живут люди с песьими головами. О большой познавательной ценности Космографии свидетельствует запись, повторяющаяся в нескольких списках этого сочинения: «А сия книга сви-

сана с Полского языка на Русский язык по повелению Жигимонта короля Полского, а переводил ее шляхтич великаго княжества Литовского... Амброжей Брежевский... на науку и поучение Руским людям» (Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. М., 1869, вып. 2, с. 94).

Подлинного расцвета русские переводные космографические достигают в начале XVII века — в эпоху, когда уровень развития русской практической географии был достаточно высок. Именно в этот период была составлена официальная генеральная карта всего Московского государства «Большой чертеж», а несколько позднее — гидрографическое описание к ней — «Книга Большому чертежу» (1627 г.). Подобными произведениями западноевропейская география XVI—XVII веков не располагала. Вместе с тем условия развития Московского государства в XVII веке диктовали настоятельную потребность в надежных практических знаниях о географо-политическом и экономическом устройстве западноевропейских стран и всего мира. К восприятию таких знаний русское общество того времени было вполне подготовлено. Кроме того, русского читателя уже не могли удовлетворять наивно-реалистически, баснословные сведения об устройстве мира, содержащиеся в сочинении Козьмы Индикоплова и древних описаниях путешествий.

Широкое распространение космографических в русской письменности XVII века связано с капитальным трудом голландского картографа XVI века Герарда Меркатора — «Атласом», который представляет собой сборник карт с их подробным географическим описанием. Картографическая деятельность Г. Меркатора вскоре стала известной во многих странах Западной Европы. Вместе со своим сыном Румольдом он организовал специальную мастерскую по изготовлению многочисленных карт способом гравирования на металле с последующим переносом изображения на бумагу, что позволяло получать большие тиражи карт. «Атлас» издавался на латинском языке по частям в течение 1585—1602 годов в Дуйсбурге и Дюссельдорфе. В 1606 году, уже после смерти Г. Меркатора, в Амстердаме вышло первое сводное издание «Атласа», дополненное новыми картами и новыми географическими сведениями.

В своем труде голландский ученый стремился создать объективное историко-географическое описание мира и поэтому, в отличие от других космографов, не включал в него непроверенные сведения, а также фантастические рассказы. Напротив, неполноту доступных ему фактов о зарубежных странах, например, о странах Северной Европы и Московском государстве XVI века,

Г. Меркатор стремился восполнить за счет достоверных источников. К таким источникам относится его переписка с английским географом и мореплавателем Ричардом Геклейтом (1580 г.), приближенным датского короля Генрихом Ранцовием и бельгийцем Оливером Брунелем, неплохо знавшими географическое положение и природу Русского государства.

В начале XVII века слово *атлас* — «собрание географических карт» не было широко известно в русском языке, поскольку гравирование карт в Московском государстве не применялось. В связи с этим большее распространение в русской письменности получили не собственно западноевропейские карты, а их географические описания.

Перевод с латинского языка текста «Атласа» Г. Меркатора был осуществлен в 1637 году переводчиками Посольского приказа Богданом Лыковым и Иваном Дорном. В истории русской письменности этот перевод известен как *Космография 1637 года*. Не случайно, что перевод сделан именно в Посольском приказе, организованном в 1549 году ранее других приказов и занимавшем ведущее положение в приказной системе Московского государства XVI—XVII веков. Этот приказ располагал наиболее полными и достоверными сведениями о зарубежных странах, так как выполнял важные государственные поручения по развитию дипломатических связей. Закономерно поэтому, что важное место в работе Посольского приказа отводилось переводческой деятельности вообще и, в частности, переводам космографий, которые после 1637 года становятся более регулярными.

В 70-е годы XVII века Посольский приказ располагал большим для того времени штатом: 20 подъячих и около 15 переводчиков. Они осуществляли рукописные переводы различных иностранных сочинений, в том числе и космографий, предназначенных для обучения детей царского дома и распространения научно-познавательных сведений географического характера. Примечательно, что Петр I считал язык переводчиков Посольского приказа образцом хорошего литературного языка.

Русское государство XVI—XVII веков было в курсе новейших достижений западноевропейской географии, причем на русский язык переводились наиболее авторитетные сочинения. Об этом наглядно свидетельствует перевод «Атласа» Г. Меркатора — грандиозная для того времени работа, занимающая около 1500 страниц большого формата. *Космография 1637 года* появилась примерно в то же время, когда «Атлас» был переведен на французский (1609 г.), голландский и немецкий (1633 г.), английский (1635 г.) языки. Таким образом, русские переводы космографических сочи-

нений следует рассматривать как своевременное практическое осуществление важных государственных задач.

Изучение популярной в XVII веке Космографии 1637 года позволило С. М. Глушкиной прийти к выводу о том, что эта космография — не перевод в современном понимании, а последовательно проведенная переработка текста «Атласа». Переводчики не ограничились простым копированием латинского текста — переведена только его основная часть без вводных статей, содержавших второстепенные факты (биография Г. Меркатора, эпитафия, различного рода посвящения и т. п.). Кроме того, переводчики включили в текст космографии историко-географический материал из других источников, представлявших познавательную ценность.

Космография 1637 года неоднократно переписывалась, отрывки из нее включались в азбуковники, хронографы и сборники различного содержания. В русской письменности известны многочисленные списки полного варианта этой космографии (223 главы) и краткого (69 глав). Краткая редакция составляла основу наиболее распространенной в XVII веке компилятивной Космографии 1670 года в 76 главах, которая содержит также 7 глав из Космографии М. Бельского. Космография 1670 года прекрасно издана в одном капитальном томе (450 страниц основного текста) Обществом любителей древней письменности (СПб., 1878–1881) с обстоятельным и подробным предисловием Н. В. Чарыкова — одного из первых исследователей русских космографий.

Географическое описание мира в Космографии 1670 года в целом отражает композицию «Атласа» Г. Меркатора. Кроме того, в нее были помещены сказочно-фантастические фрагменты, встречающиеся в Космографии М. Бельского и в более ранних космографиях. Один из фрагментов повествует о диковинных киноцефалах — людях с песьими головами: «Остров на восточном море, человецы на нем дикия, власы и ногти л(ь)вовыя. Есть ж еще остров, а в нем человецы несъи главы. Человецы ж велики и страшны зраком» (Космография 1670 г., с. 19). Другой фрагмент посвящен далекой и неведомой Сибири: «Земля Сибирь нарицаемая, зверообразных и диких людей, потому что живут по лесом и рекам великим и питаются зверем и рыбою кроме хлеба; ядят кровавое и сырое (мясо), веры ж и грамоты не имеют» (там же, с. 13).

Анализ географического кругозора этой космографии показывает, что первостепенное внимание было уделено экономико-политической характеристике зарубежных государств: запасам полезных ископаемых и политическому устройству, что имело крайне важное значение для развития внешних экономических связей

Русского государства. Характерно в этом плане описание Англии, с которой Русь к моменту появления Космографии 1670 года под-держивала экономико-дипломатические отношения уже более ста лет. Причем именно в главах, посвященных Англии, исследователи обнаруживают много новых, дополнительных сведений, внесенных переводчиками. К таким сведениям, в частности, относится характеристика англичан как многоопытных купцов-мореплавателей: «Англичане на море великие воинские промышленники» (там же, с. 237).

Достаточно подробно рассказано о запасах полезных ископаемых Англии: «Есть в том государстве руды золотые, олова доброго и свинцу и купоросу множество, и (в) иные многие государства оттоле идет. В реке Авоне находят камни адаманту, светлостью и крепостью индийских превосходит. Тако ж де и агата камни много, цветом причернь... Все то королевство золотом и серебром велми богато, от торговли и прибытка немалого» (там же, с. 236–237).

В главе, посвященной Дании, содержится описание церемонии избрания короля на престол: «Избрание дацкого короля бывает от велможных думных людей того государства, и на коронование приводят его те же велможные думные первые люди, в соборной костел пречистые Богородицы перед олтарь...» (там же, с. 249). Подобные фрагменты встречаются и при характеристике многих других зарубежных государств.

Вопросы собственно географического описания отодвинуты в космографии на второй план, поскольку подчинены задачам экономико-политическим. Тем не менее из космографии можно было узнать о географическом положении стран, их природе и климате, животном и растительном мире, а также о его редких представителях. Например, о географии и природе Англии сказано следующее: «Аглинский остров болши всех иных островов... Воздух здрав и тих. Мглы и росы великие. Ветры всегдашние... Ветры великие, стужи и мразам быть великим возбраняют. Хлеба и овощей всяких (т. е. съедобных продуктов растительного мира) родится множество, кроме винограду. Есть иные разные овощи, из которых морс делают, подобен красному вину» (там же, с. 236).

В описании хозяйства жителей Южной Америки есть интересное указание на то, что перуанцы разводят овец громадных размеров. Очевидно, здесь имеются в виду неизвестные на Руси того времени животные — ламы: «Овцы zelo велики, подобны велблудам. Из волны (шерсти) тех овец тамошние жители одежды делают» (там же, с. 431).

Несомненный познавательно-практический интерес русского читателя вызывали и более частные, но не менее важные сведения, например, об устройстве инкубаторов: «Во всем Египте куры на яицах не сидят. Есть на то печи устроены мерною теплою, и на те печи кладут по 3008, по 4008, по 5000 яиц. Из тех яиц писклята вылупливаются» (там же, с. 330).

Из космографии можно было почерпнуть много новых, интересных сведений историко-этнографического характера: о религиозных верованиях, нравах и обычаях и даже характерах людей зарубежных стран. Вот типичный пример такого описания: «Аглинские люди доброобразны, веселоваты, телом белы, очи имеют светлы, во всем изрядны, подобны италияном. Житие их во нравах и обычаях чинно и строино, ни в чем их похулити невозможно» (там же, с. 241). В космографии содержится также немало других, новых для читателя XVII века фактов познавательного плана.

В 1710 году в Москве выходит в свет первое научное географическое сочинение — «География или краткое земного круга описание». Причем не исключено, что его автор мог творчески использовать богатейший материал космографий. Однако и после публикации этого научного труда космографии, несколько утратив собственно научную ценность, продолжали оставаться увлекательными книгами для чтения по истории географии допетровской эпохи. Сохранению популярности космографий в немалой степени способствовал и тот факт, что с XVIII века их тексты стали сопровождаться картами-картинками, отражавшими древнее устройство мира. Одна из таких иллюстраций опубликована в журнальной статье «О географических сведениях древних россиян» (Московский телеграф, 1831, ч. 42, № 24, с. 462–463).

Даже в середине XIX века отдельные сюжеты космографий, особенно сказочно-фантастические, в виде слабых реминисценций продолжали сохраняться в древнем географическом сознании народа. Примером литературно-фольклорного осмысления сюжетов такого рода является рассказ странницы Феклуши о земле, «где все люди с псыими головами» (А. Н. Островский. «Гроза», действие 2-е, явление 1-е).

Русские космографии — ценные памятники письменности, в которых наглядно отразилась история средневековой географии. Их изучение представляет большой интерес не только для географов и лингвистов. Знакомство с изданными космографиями позволит современному любознательному читателю подробнее узнать о географических воззрениях наших далеких предков.



Старинная женская одежда и ее наименования

Г. В. Судаков,

доктор филологических наук

Женская одежда во времена Московской Руси была преимущественно распашной. Особенно оригинальной была верхняя одежда, к которой относились *летники*, *телогреи*, *холодники*, *распашницы* и др.

Летник — верхняя холодная, то есть без подкладки, одежда, причем накладная, надеваемая через голову. От всех одежд *летник* отличался покроем рукава: в длину рукава были равны длине самого *летника*, в ширину — половине длины; от плеча до половины их сшивали, а нижнюю часть оставляли несшитой. Вот косвенная характеристика старорусского *летника*, данная стольником П. Толстым в 1697 году: «Дворяне носят верхняя одежды черныя ж, долгиа, до самой земли и широкия подобно тому, как прежде сего на Москве нашивал жепский пол *летника*».

Название *летник* зафиксировано около 1486 года, оно имело

общерусский характер, позднее *летник* как название общей для мужчин и женщин одежды представлено в севернорусских и южнорусских диалектах.

Поскольку *летники* не имели подкладки, то есть были холодной одеждой, то их называли также *холодниками*. Женская *фериазь*, нарядная широкая одежда без воротника, предназначенная для дома, тоже относилась к *холодникам*. В шуйской челобитной 1621 г. читаем: «Жены моей платья фериазь холодник кидяк желт да фериазь другие теплые кидяк лазорев». Еще в XIX веке *холодниками* в ряде мест называли различные виды летней одежды из холста.

В описаниях быта царской семьи, относящихся ко второй четверти XVII века, несколько раз упоминается *распашница* — женская верхняя распашная одежда с подкладкой и пуговицами. Наличием пуговиц она и отличалась от *летника*. Слово *распашница* появилось в результате стремления иметь особое название для женской распашной одежды, поскольку мужскую распашную одежду называли *опашень*. В Москве появился и соответствующий вариант для именованья женской одежды — *опашница*. Во второй половине XVII столетия распашная одежда свободного покроя теряет свою привлекательность в глазах представителей высшего сословия, сказывается начавшаяся ориентация на западноевропейские формы одежды, и рассмотренные названия перешли в разряд историзмов.

Основное название теплой верхней одежды — *телогрея*. *Телогреи* мало отличались от *распашниц*, иногда их носили и мужчины. Это была преимущественно комнатная одежда, но теплая, поскольку она подбивалась сукном или мехом. Меховые *телогреи* мало отличались от *шуб*, о чем свидетельствует такая запись в описи царского платья 1636 г.: «Скроена государыне царице телогрея отлас цветной шолк червчат (багровый, ярко-малиновый — Г. С.) да светлозелен, длина шубе по передом 2 аршина». По *телогрею* были короче *шуб*. В быт русского царя *телогреи* вошли очень широко. Вплоть до настоящего времени женщины носят теплые кофты, душегрейки.

Женские легкие шубы иногда называли *горлопами*, но уже с начала XVII века слово *горлоп* заменяется более универсальным названием *шубка*. Богатые меховые короткие *шубки*, мода на которые пришла из-за рубежа, именовались *кортелями*. *Кортели* часто давали в приданое; вот пример из рядной грамоты (договора о приданом) 1514 года: «На девке платья: кортел куней с вошвою семь рублей, кортел белеи хребтов полтретя рубли вошва готова шита полосата да кортел черева беляи с тафтою и с вош-

вою». К середине XVII века кортели тоже выходят из моды, а название становится архаизмом.

Зато с XVII века начинается история слова *кодман*. Эта одежда была особенно распространена на юге. В документах Воронежской приказной казны 1695 года описывается юмористическая ситуация, когда в *кодман* нарядился мужчина: «Въ котором де дни приходил нарядяс в жепской в кодман и он пра то Василей не упомянуть а котмоп не надевал для шутки». *Кодман* был похож на накидку, *кодманы* носили в рязанских и тульских селах до революции.

А когда появились «старомодные шушуны», о которых упоминает в своих стихах Сергей Есенин? В письменности слово *шущун* отмечается с 1585 года, ученые предполагают его финское происхождение, первоначально оно и употреблялось только на востоке севернорусской территории: в Подвинье, по р. Ваге, в Великом Устюге, Тотьме, Вологде, затем стало известно в Зауралье и Сибири. *Шущун* — женская одежда из ткани, иногда подбитая мехом: «шущун лазорев да шущун кошечей женской» (из приходо-расходной книги Антониево-Сийского монастыря 1585 г.); «заечинной шущун под ветошкою и тот шущун сестре моей» (духовная грамота — завещание 1608 г. из Холмогор); «шущуенко теплое заечинное» (ропись одежды 1661 г. из Важского у.). Таким образом, *шущун* — это севернорусская *телогрея*. После XVII века слово распространяется к югу до Рязани, к западу — до Новгорода и проникает даже в белорусский язык.

У поляков были заимствованы *катанки* — тип верхней одежды из шерстяной ткани; это короткие *телогреи*. Некоторое время их носили в Москве. Здесь их шили из овчины, покрытой сверху сукном. Сохранилась эта одежда только в тульских и смоленских местах.

Рано вышли из употребления такие одежды, как *китлик* (верхняя женская куртка — влияние польской моды), *белик* (одежда крестьянок из белого сукна). Почти не носят сейчас и *насовы* — род накладной одежды, надеваемой для тепла или для работы.

Перейдем к головным уборам. Здесь надо различать четыре группы вещей в зависимости от семейного и социального положения женщины, от функционального предназначения самого головного убора: женские платки, головные уборы, развившиеся из платков, чепцы и шапочки, девичьи повязки и венцы.

Основное название женского убора в старое время — *плат*. В некоторых говорах слово сохраняется до наших дней. Название *платок* появляется в XVII веке. Вот как выглядел весь комплекс

головных уборов женщины: «А грабежем с нее сорвала трех пизаной с соболями, цена пятнадцать рублей, кокошник лудаковой асиновой золотной с зернами жемчужными, цена семь рублей, да платок рубковой шит золотом, цена рубль» (из московского судебного дела 1676 г.). Платки, входившие в комнатный или летний наряд женщины, называли *убрусыми* (от *бруснуть*, *брысать*, то есть тереть). Одежда модниц в Московской Руси выглядела очень красочно: «На всех летники желтые и шубки червчатые, в убрусе, с ожереди бобровыми» («Домострой» по списку XVII в.).

Ширинка — другое название головного платка, кстати, весьма распространенное. А вот *повой* до XVIII века был известен очень мало, хотя позднее от этого слова развивается общеупотребительное *повойник* — «головной убор замужней женщины, наглухо закрывающий волосы».

В старой книжной письменности головные платки и накидки носили и другие названия: *уясло*, *ушев*, *главотяг*, *наметка*, *накидка*, *хустка*. В наши дни, кроме литературного *накидка*, используется в южнорусских областях слово *наметка* «женский и девичий головной убор», а на юго-западе — *хустка* «платок, ширинка».

С XV века русские знакомы со словом *фата*. Арабское слово *фата* первоначально обозначало любое покрывало на голову, затем у него закрепляется специализированное значение «накидка невесты», вот одно из первых употреблений слова в этом значении: «А как великой княжне голову почешут и на княжну кыку положат, и фату повесят» (описание свадьбы князя Василия Ивановича 1526 г.).

Особенность девичьего наряда составляли *повязки*. Вообще характерная черта девичьего убора — открытая макушка, а основной признак уборов замужних женщин — полное прикрытие волос. Девичьи уборы делали в виде перевязки или обруча, отсюда и название — *перевязка* (в письменности — с 1637 г.). Носили *перевязки* повсеместно: от крестьянской избы до царского дворца. Наряд крестьянской девушки в XVII веке выглядел так: «На девке Аниютке платья: кафтанишко зеленой суконной, телогрея крапчинная лазорева, перевязка шита золотом» (из московской допросной записи 1649 г.). Постепенно *перевязки* выходят из употребления, дольше они сохранялись в северных краях.

Девичьи головные ленты называли *повязками*, это название, наряду с основным *перевязка*, отмечалось лишь на территории от Тихвина до Москвы. В конце XVIII века *повязкой* называли ленты, какие на голове носили сельские девушки. На юге чаще употреблялось название *связки*.

По внешнему виду приближается к повязке и *венец*. Это нарядный девичий головной убор в виде широкого обруча, распитого и украшенного. Украшали *венцы* жемчугом, бисером, мишурой, золотой нитью. Нарядная передняя часть *венца* носила название *перёденка*, иногда так именовали и весь *венец*.

У замужних женщин были закрытые головные уборы. Головное покрывало в сочетании с древними славянскими «оберегами» в виде рогов или гребней — это *кйка*, *кичка*. *Кика* — славянское слово с первоначальным значением «волосы, коса, вихор». *Кикой* называли только венчальный головной убор: «Великому князю п княжне голову почешут, а на княжну кикю положат и покров навесят» (описание свадьбы князя Василия Ивановича 1526 г.). *Кичка* — женский повседневный головной убор, распространенный главным образом на юге России. Разновидность *кики* с лентами называлась *спур* — в Воронеже, Рязани и Москве.

История слова *кокошник* (от *кокошь* «петух» по сходству с петушиным гребнем), судя по письменным источникам, начинается поздно, во второй половине XVII века. *Кокошник* был общесословным убором, носили его в городах и деревнях, особенно на севере.

Кики и *кокошники* снабжались *подзатыльником* — задком в виде широкой сборки, закрывающей затылок. На севере *подзатыльники* были обязательны, на юге они могли отсутствовать.

Вместе с *кичкой* носили *сороку* — шапочку с узлом назад. На Севере *сорока* была распространена меньше, здесь ее мог заменять *кокошник*.

В северо-восточных областях *кокошники* имели своеобразный вид и особое название — *шамшюра*, см. составленную в 1620 г. в Сольвычегодске опись имущества Строгановых: «Шамшюра шита золотом по белой земле, очелье шито золотом и серебром; шамшюра плетеная с метлеками, очелье шито золотом».

Нарядный девичий убор *головец* представлял собою высокой овальной формы круг с открытым верхом, он делался из нескольких слоев бересты и обтягивался вышитой тканью. В вологодских деревнях *головец* могли быть свадебными уборами невест.

Различные шапочки, надеваемые на волосы под платки, под *кички*, носили только замужние. Такие уборы особенно были распространены на севере и в средней России, где климатические условия требовали одновременного ношения двух или трех головных уборов, да и семейно-общинные требования в отношении обязательного покрытия волос замужней женщиной были строже, чем на юге. После венчания на молодую жену надевали поду-

брусник: «Да на четвертом блюде положить кика, да под кикую положить подзатыльник, да подубрусник, да волосник, да покрывало» («Домострой» по списку XVI в., свадебный чин). Оцените описываемую в тексте 1666 г. ситуацию: «Он же, Симеон, велел со всех жон с работниц подубрусники сняти и простоволосыми ходить, девками, потому что де у них законных мужей не бывало». *Подубрусники* часто упоминались в описях имущества горожан и богатых жителей села, но в XVIII веке квалифицируются «Словарем Академии Российской» как тип простонародного женского головного убора.

На севере чаще, чем на юге, встречался *волосник* — шапочка, сшитая из ткани или вязаная, надеваемая под платок или шапку. Название встречается с последней четверти XVI века. Вот характерный пример: «Меня Марьицу во дворе у себя бил по ушам и окосматил, и ограбил, и грабежем у меня з головы схватил шапку да волосник золотой да шелком вязан обшивка жемчужная» (челобитная 1631 г. из Великого Устюга). От кокошника *волосник* отличался меньшей высотой, он плотно облегал голову, был проще оформлен. Уже в XVII веке *волосники* носили лишь сельские жительницы. Снизу к *волоснику* пришивали *ошивку* — расшитый круг из плотной ткани. Поскольку *ошивка* была самой видной частью убора, то иногда и *весь волосник* называли *ошивкой*. Приведем два описания *волосников*: «Да жены моей два волосника золотных: у одного ошивка жемчужная, у другога ошивка шита золотом» (челобитная 1621 г. из Шуйского у.); «Ошивка с волосником жемчужная с канителью» (вологодская роспись приданого 1641 г.).

Во второй половине XVII века в среднерусских источниках вместо слова *волосник* начинает употребляться слово *сетка*, что отражает изменение самого вида предмета. Теперь шапочка стала употребляться как единое целое с пришиваемым снизу плотным кругом, сама же она имела редкие отверстия и стала легче. На севернорусской территории по-прежнему сохранялись *волосники*.

Подубрусники чаще носили в городе, а *волосники* — на селе, особенно на севере. У знатных женщин шитая комнатная шапочка с XV в. именовалась *цепцом*.

Из татарского языка было заимствовано название *тафья*. *Тафья* — шапочка, надеваемая под шапку. Впервые упоминание о ней находим в тексте 1543 г. Первоначально ношение этих уборов осуждалось церковью, поскольку *тафьи* не снимали в церкви, однако они вошли в домашний обычай царского двора, крупных феодалов, а со второй половины XVII в. их стали носить

и женщины. Ср. замечание иностранца Флетчера о русских головных уборах в 1591 году: «Во-первых, на голову надевают тафью или небольшую почную шапочку, которая закрывает немного поболее маковки, сверх тафьи носят большую шапку». *Тафьей* называли восточные шапочки разных типов, поэтому тюркское *аракчин*, известное русским, не получило распространения, оно осталось лишь в некоторых народных говорах.

Все упомянутые здесь головные уборы женщины носили преимущественно дома, а также при выходе на улицу — летом. В зимнее время они наряжались в меховые шапки самого различного вида, из разнообразных мехов, с ярким цветным верхом. Количество головных уборов, носимых одновременно, в зимнее время увеличивалось, но зимние головные уборы, как правило, были общими для мужчин и женщин (см. подробнее в статье «Как называлась Сенькина шапка» // Русская речь. 1985, № 5).

В заключение скажем о названиях предметов, в которых хранили косметические средства.

Сосуды для известных московской знати ароматических веществ носили наименования *ароматница*, *ароматник*, *ароматик*. Скрытое углубление в предмете, куда помещали для приятного запаха ароматическое вещество, — это тоже *ароматник*, такие *ароматники* устраивали в ларцах. Гигиеническую белую краску держали в *белильницах*: «Белиленка серебряна с финифты с розными, ароматница серебряна персидское дело» (опись имущества 1611 г.). Для придания себе особо живописного вида использовали румяна и сурьму. Если *ароматницы* и *румянницы* упоминаются лишь в московской письменности, то *белильницы* и *суремницы* были распространены гораздо шире, знали их, например, во многих северных городах.

Среди косметических веществ было вязкое клеящее средство, для хранения которого использовали *клеяльницы* или *клеяленки*, но только в богатых московских усадьбах. В качестве пахучего лечебного вещества применялся мускус, получаемый от кабарговых оленей. Мускус держали в металлических мускусницах, украшенных драгоценными камнями.

Не будем больше подглядывать за нашими модницами и закончим на этом свой рассказ.



ЕНИСЕЙСКАЯ ТОВАРНАЯ РОСПИСЬ



Л. М. Городилова,
кандидат филологических наук

Среди сибирских памятников деловой письменности особого внимания заслуживают *товарные ценовные росписи* — перечни товаров с указанием их количества и стоимости в разные годы.

Первое упоминание о товарных росписях Енисейска, крупного культурно-экономического центра Восточной Сибири XVII века, находим у Н. Н. Оглоблина в его «Обзрении столбцов и книг Сибирского приказа» (ч. II, М., 1897. С. 70–73). Уже тогда отмечалось, что росписи представляют собой очень ценные в историческом и лингвистическом отношении материалы и поэтому заслуживают отдельного полного издания. В 1900 году в Чтениях ОИДР (Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, кн. 2, отд. I. С. 63–130) были опубликованы списки с товарных ценовных росписей, которые в большей мере рассчитаны на историков. Автор публикации А. Н. Зерцалов передал текст оригинала по орфографическим нормам XX века, заменил словесное обозначение чисел цифровым, внес коррективы, удобные для исторической обработки материала. Обнаружены и неточности в прочтении скорописного текста. Так, вместо встретившегося в оригинале сочетания «наигол(ь)никъ жестенои» (коробочка для хранения игл) А. Н. Зерцалов употребляет сочетание «наугольник жестяной» (накладка, скрепляющая угол). Фонетически обусловленные написания типа «в крушкахъ», «в сковороткахъ», «рошковъ» историк передает как «в кружках», «в сковородках», «рожков». Неверная передача в публикации таких форм, как «тысеча гвоздя» (у А. Н. Зерцалова «1000 гвоздей») содержит в себе ложную информацию о развитии собирательных существительных. Отмечается в изданном тексте и заме-

на одних частей речи другими: «фупть снтарю» в первоисточнике и «фупт янтарного» у А. П. Зерцалова. Множество подобных отступлений от подлинника искажают объективную лингвистическую картину, делают опубликованные росписи непригодными для восстановления фонетических и грамматических особенностей говора писцов. Тем не менее благодаря необычайно богатому содержанию памятник (в публикации А. Н. Зерцалова) был использован в качестве одного из источников при составлении «Словаря русского языка XI–XVII вв.» В настоящее время оригинал хранится в Центральном государственном архиве древних актов в Москве (фонд 214).

Появление этого единственного в своем роде памятника связано со следующими обстоятельствами. В 1687 году в Енисейскую разрядную избу – государственное учреждение, ведавшее административными делами, – поступило челобитие торгового человека Алексея Ушакова «со товарищи» о том, что в Енисейске на привозные товары накладываются лишние цены. 16 августа 1687 года из разрядной избы в таможенную, которая контролировала всю экономическую жизнь острога, по поводу челобития торговых людей была направлена память (письменное распоряжение) стольника и воеводы Григория Новосильцова, в которой предписывалось «лишние цены на товары таможенным головам сверх продажные цены не накладывать, а торговым всяких чинов людям товаров своих и на покупку же денег не таити и цены с товаров не убавляти». Согласно памяти, таможенный и заставный голова Иван Пиоваров допросил Алексея Ушакова и других торговых людей о ценах на разные русские, китайские, бухарские товары и внес эти сведения в товарную ценовую роспись. Для определения «приценок» и «недоценок» в таможенной избе был составлен список с ценовых книг 1649 года. Так сложился интереснейший комплекс документов, объединенных общим содержанием, который представляет собой полный перечень товаров, находившихся в Енисейске с 1649 по 1687 год.

Первая роспись – список с енисейских ценовых книг 1649 года – начинается перечнем товаров без всякого предисловия. Все включенные в список товары распределены составителем на 36 тематических групп, каждая из которых имеет свой подзаголовок, например: «медь всякая дел(ь)ная и пуговицы оловянные и костяные»; «перець и онис инбир и гвоздика и ягоды винные изюм и пряники и сахар и рошки»; «орехи чернил(ь)ные и квасцы и купорос и сандал и киповар (краски) и комед (застывший сок некоторых деревьев, имеющий свойства клея) и семена огородные всякие»; «уклад (сталь особой закалки)

и железо всякое дел(ь)ное и весчее»; «конские и оружейные всякие оправы»; «рыба всякая просол(ь)ная и икра черная и красная и соль и жир туруханской и обской (с рек Турухан и Обь) перса (рыбная мука) и оленины и ровдуги (оленья замша) и мясо всякое»; «масло каровя (коровье) и скипидарное и деревянное и сало говяжья и свечи сал(ь)ные и олифа и нефть»; «жемчуг всякий»; «сукна всякие немецкие и литовские и русские»; «сафьяны и кожи и обуви всякие»; «рукавицы и стельки и чулки»; «холсты и рубашки и штаны всякие» и т. д.

После заголовка следует подробный отчет о количестве того или иного товара, его качестве, цене: «пуд орехов каленых цена рубль с полтиною, пуд орехов кедровых цена восемь гривен», «крупка глиненная немецкая и кушинец тож цена четыре гривны», «стопа бумаги писчей доброй цена три рубли, стопа бумаги моклой цена рубль с полтиною, стопа бумаги плохой цена два рубли».

Аналогично составлена и роспись 1687 года — список с заручной (т. е. подписанной участниками опроса) товарной ценовой росписи. Этот документ также разделен на 36 групп, расположенных в той же последовательности, что и в тексте 1649 года. Однако в некоторых группах наблюдается несовпадение в перечне товаров. Кроме того, роспись 1687 года имеет небольшое предисловие, в котором перечислены имена всех участников опроса.

Третий документ комплекса по своему характеру является сравнительным списком с двух предыдущих товарных росписей. В предисловии этот текст называется «перечневою выпискою». Его структура не отличается от товарных росписей 1649 и 1687 гг. Здесь мы также обнаруживаем 36 групп товаров и комментариев в случае несовпадения цен со сведениями предыдущих росписей: «по прежнимъ ценовнымъ росписямъ стопа бумаги писчей доброй три рубли а по нынешней ценовой росписи стопа той бумаги цена рубль с полтиною и противъ прежнихъ ценовыхъ росписей недооценено у стопы бумаги писчей рубля с полтиною»; «по прежнимъ ценовнымъ росписямъ сто шиль сапожныхъ цена рубль а по нынешней ценовой росписи цена темъ шиламъ полполтины и противъ прежнихъ ценовыхъ росписей недооценено у техъ шиль дватцати пяти алтынь».

В конце товарные росписи содержат «справки» подъячего таможенной избы Митрофана Анапшина, а по нижнему полю — «рукоприкладство» (удостоверяющую подпись) таможенного головы Ивана Пиоварова и целовальников: «къ сему списку товарной ценовой росписи таможенной и заставной голова Иванъ Пиоваровъ руку приложилъ». Перечневою выписку 1687 года «справил

подъячий приказной избы Борис Серебрянниковъ». По боковым полям расположено «рукоприкладство» стольника и воеводы Григория Повосильцова.

Все три росписи являются ценнейшим источником для изучения истории русской торговли, поскольку содержат богатые сведения о поставках в Сибирь как русских, так и «иноземских» товаров. В памятнике перечисляется множество предметов, так необходимых первопоселенцам далекой российской окраины, которая в самих текстах называется «государевой украинной». Здесь мы находим не только предметы повседневного быта (ковши, кружки, ложки, блюда, чашки, тарелки, сковородки и др.), но и предметы роскоши: *одекуй* (стеклянные бусы), *бисер*, *корольки* (украшение из кораллов), *жемчуг*, *камешки* (драгоценные камни), *литики* (стекло — подделка под драгоценный камень) и *строганцы* (горный хрусталь), *рюмки*, *зеркала хрустальные немецкие* и др. Кстати, Н. А. Бакланова (Очерки по истории торговли и промышленности в России в 17 и в начале 18 ст.—Труды ГИМ, вып. 4. Отдел исторический общ., М., 1928, с. 85) отмечает большой спрос на привозные зеркала, при этом в Сибирь, по ее мнению, ввиду дороговизны провоза поставлялись исключительно зеркала ярославские, более низкого качества. Как свидетельствуют Енисейские товарные росписи, уже в середине XVII века зеркала «немецкие хрустальные в больших книжках», «в досках», «створные», «стенные» «с поталею» (с золотой или медной пленкой для украшения), «с нагалищами» (т. е. с чехлом или в футляре) не были редкостью в домах сибиряков.

Большой ценностью в Сибири XVII века были книги. Судя по товарной росписи, в Енисейске в середине XVII века читали «евангелие запрестол(ь)ное, евангелие толковое, триодь постную и цветную, устав, новои завет, шестоднев, апостол, пролог полугодовой, житие Николипо, потребник, часослов, патерик, азбуки печатные в переплете и в тетратех, книгу грамматик, маргарит» (слова Иоанна Златоуста) и др. Приведенный неполный перечень, а также наличие собственноручных челобитных (служилых, посадских и торговых людей, крестьян) свидетельствуют о достаточно высоком уровне грамотности сибирского населения.

Интересен и перечень тканей «иноземского привозу»: *атлас*, *байберек* (ткань из крученого шелка), *бархат*, *борлат* и *зендель* (хлопчатобумажные ткани), *бумазья*, *дороги* (восточная шелковая ткань), *камка* (шелковая цветная узорчатая ткань), *кармазин* (тонкое красное сукно), *карса* (бухарская ткань), *куфтерь* (вид шелковой узорчатой ткани), *кумачь*, *обьярь* (плотная шелковая ткань), *сукно*, *тафта*, *шелк* и множество других. Составители

росписи не только перечисляют названия привозимых тканей, но и указывают на место их выработки: *немецкие, индейские, литовские, шемоханские, кизилбашские и гиланские* (персидские). Ткани характеризуются по цвету и качеству: *цветные, кармазинные* (красные), *полосатые, чешуйчатые* (с мелким рисунком в виде треугольников), *травчатые* (с золотым или серебряным ткальем), *узкие, добрые, плохие* и др. Иногда определяется и назначение той или иной ткани: *барабанная* (для барабанов), *итанная, юпочная* (для юпы — мужской легкой одежды наподобие зипуна), *старческая* (для монастырских старцев).

Каждая тематическая группа в росписях представляет большой интерес для языковедов, историков, этнографов. Так, в перечне мужского и женского платья находим такие названия: *однорядка* (верхняя одежда из шерстяной ткани без подкладки), *кафтан, полукафтанье, зипун сермяжный* (верхняя теплая одежда), *чекмень сермяжный* (вид кафтана), *сарафан сукманный* (полусуковный), *сукман* (одежда из *сукманы* — полусукна), *наметка* (накидка) *чернеческая шелковая* и др. Отдельно расписываются шубы: *шуба баранья гусарка, шуба баранья одевальная* (накидываемая поверх одежды), *кафтан шубной, тулуп*. На голову сибиряки-первопоселенцы надевали *шапку, шляпу, пух*; на ногах носили *сапоги, башмаки, коты* (короткие теплые сапоги), *уледи* (обувь для хождения на лыжах), *чарки* (кожаная обувь без голенищ и каблуков). Богато представлены в тексте росписей изделия из железа: *лейка, греблица* (скребок для чистки лошадей), *топор, сковородник, клюка, лом, заступ* (род лопаты), *скобы, ножи, замки, гвозди* и др. Ценные сведения можно получить по лексике рыбного, кожевенного, пушного промысла.

Многие предметы сопровождаются указанием на их качественную характеристику, например: *иглы — большие, узловые, мастерские, гранки* (граненные, для сшивания грубых тканей), *шпанки* (по месту производства), *светлой руки; замки — анбарные, коробешные с прутьем* (по назначению), *полинчатые, пугреные, задорозчатые, висячие, колодные, клинчатые* (разновидности замков по форме и устройству); *большие, средние, малые* (по размеру); *ерославские, немецкие* (по месту изготовления).

Дважды в тексте росписей встретилось развернутое пояснение отдельных слов, в котором уточняется назначение указанного предмета: «утка деревянная в чем соль кладут вологодская», «косар лучина шанат» (от *щипать*. — Л. Г.). Подобные явления в текстах деловой письменности встречается довольно редко, так как писцы, как правило, употребляют слова, хорошо известные окружающим.

Приведенный далеко в неполном объеме материал показывает, насколько интересен этот памятник для различных лингвистических исследований. Каждая тематическая группа может служить источником новых сведений по истории формирования лексического состава говоров сибирских переселенцев, включающего лексику общенародную и локальную, местную. Несомненна и историко-познавательная значимость товарных росписей, раскрывающих страницы истории Сибири в период освоения ее русскими.

Хабаровск



Как Вас зовут?

А. В. Суперанская,
доктор филологических наук

В 1964 году вышла книга А. В. Суперанской «Как Вас зовут? Где Вы живете?», сразу ставшая библиографической редкостью. В настоящее время готовится второе, расширенное, издание этой книги: «Имя — через века и страны».

В ответ на просьбы наших читателей больше печатать материалов о личных именах начинаем публикацию очерков А. В. Суперанской по ономастике.

* * *

На этот вопрос кто-то ответит: Александр Иванович Кудрявцев, Грация Федоровна Пеумытова, Зухра Юсуповна Пуржанова, Яак Симм, Церендоржи Поминханов и т. д. У каждого человека есть свое личное имя и некоторые добавочные имена. Имя личное это, по-видимому, самая универсальная языковая категория: нет человека без имени; и в то же время — самая индивидуальная: имена разных народов многообразны и неповторимы. И это не только потому, что люди говорят на разных языках и следуют различным культурным традициям, но и потому, что имена разных народов различны по происхождению, да и само именованье человека происходит у разных народов с иных позиций, несопадающих точек отсчета. Поэтому и формула именованья — так называется принятая традиционная последовательность именных слов (Елизавета Павловна Булахова, Алекнер Юсафзаде и т. п.) — у разных народов различна.

Есть люди, у которых одинаковые имена, например, Иван Андреевич Крылов и Иван Сергеевич Тургенев. Это тезки. Люди, имеющие одинаковые фамилии, называются однофамильцами. Например, художник Александр *Иванов* и писатель Всеволод *Иванов*. Есть очень широко распространенные имена и фамилии, их называют частотными, например, имена личные Андрей, Александр, Светлана, Ольга, Ирина, фамилии Кузнецов, Смирнов, Волков, Гусев. Иные имена встречаются

крайне редко, например, *Касьян, Луни, Ия, Горазд*. Их называют раритетными. А вот люди по фамилии *Лагерев, Неценстрик, Сирогитан, Ярмизин* за всю свою жизнь не встретили однофамильцев.

В нашей стране живут 130 различных пародов и народностей. Они говорят на разных языках и пользуются именами, мало похожими друг на друга. Но у всех имен, из какого бы языка они ни были взяты, есть нечто общее. Прежде всего, большинство личных имен — это особые слова, которые создавались и культивировались столетиями. Например, такое самое «современное» имя, как *Александр* было известно задолго до нашей эры. Им звался Александр Македонский. Но он не был первым носителем этого имени. Достаточно сказать, что *Александрос* (так звучит это имя по-гречески) было в древнейший период эпитетом (т. е. добавочным хвалебным именем) греческой богини Геры и римского бога Марса. А это уводит рассматриваемое имя к той ранней эпохе человечества, от которой практически не сохранилось памятников.

В 20–30-е годы нашего века было создано новое женское имя *Майя* с вариантом *Мая*, которое воспринималось в связи с майскими праздниками. Однако личному имени *Майя*, по меньшей мере, несколько тысяч лет. Так звали мать Будды, основателя буддизма. *Майей* именовалась догреческая богиня, мать Гермеса, наконец, *Майя* было именем еще более архаичной богини, олицетворявшей землю. Таким образом, у нас просто «оживили» старое имя, наполнили его новым содержанием.

Естественно, о «возрасте» личных имен можно говорить лишь условно и с большой осторожностью. Ведь самое современное имя может оказаться весьма древним. И хотя многие исследователи предпочитают заниматься современным состоянием именных систем, современность эта оказывается исторической, созданной в далекой древности.

О сумме имен, употребляющихся в данное время у какого-нибудь народа, обычно говорят как о системе, в которой все сбалансировано. Однако, как мы только что видели, в современном, синхронном употреблении одновременно находятся не только имена, придуманные или заимствованные сегодня (*Правдина, Юманита*), но и имена различных возрастов, созданные из материала данного языка или заимствованные из других языков в различные эпохи. Чем лучше удовлетворяет имя системным требованиям, тем дольше оно удерживается у данного народа, тем менее меняется с течением времени. Например, русские имена *Андрей, Анна, Иван, Алексей* и др. тысячу лет назад звучали почти так же. «Не укладываемые» в систему имена *Хрисанф,*

Эксакустодиан, *Неонила* и др. превращаются в народном употреблении в *Кирсан* или *Крысан*, *Кустодий*, *Непила*, как бы сбрасывая с себя костюмы чужих языков и обретая свойства русских слов.

Но не одна лишь системность придает именам данного народа устойчивость и традиционность. Дело в том, что личное имя является определенным средоточием культуры народа, и в то же время оно само — порождение народной культуры. На протяжении тысячелетий культура определялась прежде всего религией данного народа. Любая религия несла с собой комплекс моральных, правовых, нравственных и традиционно бытовых уложений, норм, привычек. Одной из культурных ценностей, сопутствующих религии, служит определенный массив личных имен.

В зависимости от традиций, привнесенных различными религиями, имена народов нашей страны можно разделить на несколько групп. Наиболее ранние имена связаны с язычеством, при этом у древних славян (предков русских, украинцев, белорусов), у тюркоязычных и монголоязычных народов и у народов Севера, где было развито шаманство, складывались свои, самобытные именные системы.

У древних славян, например, было много сложных двусловных имен типа *Твердислав*, *Милонег*, *Милодраг*, *Драгомил*, *Домажир*, *Домавед* и т. д. Наряду с этими двусловными именами употреблялись и однословные типа *Мал*, *Мил*, *Жир*; при этом до сих пор не вполне ясно: образовались ли эти последние в результате усечения более длинных двусловных имен или существовали сами по себе наряду с ними.

В древних тюркских именах отразились поклонение небесным светилам, силам природы, культ птиц, рек и т. д. Было немало так называемых охранных имен, которые давали, чтобы уберечь ребенка от злого глаза, от злых духов. У народов Севера, как, впрочем, и у славян, имена, порой, образовывались от целых фраз, например, у нагайцев есть имена, образованные от фраз типа «переплывающий реку», «хорошо видящий», «плавающая по поверхности».

Так называемые мировые религии: христианство, иудаизм, буддизм, мусульманство, распространяясь от народа к народу, привнесли свои имена и связанные с ними традиции в страны, значительно удаленные друг от друга, способствуя их культурному сближению. Так, в нашей стране христианство (православие, тысячелетие которого мы отметили в 1988 году) принесло с собой такие имена, как *Влас* (*Власий*), *Григорий*, *Венедикт*, *Марфа*, *Агафья*, *Мартын*, заимствованные из греческого языка. Те же

имена у католиков и протестантов (поляки, литовцы, латыши, эстонцы) вследствие того, что они пришли через латинский язык, звучат: *Блазий* и *Блажей*, *Грегор*, *Бенедикт*, *Марта*, *Агата*, *Мартин*.

Мусульманство распространилось у нас на Кавказе (кроме Грузии и Армении), в республиках Средней Азии и Поволжье. Поток мусульманских имен, в основе своей арабских, нес также некоторые персидские и тюркские элементы. Очень типичны мусульманские имена с первым компонентом *абд* — «раб»: *Абдулла* (раб Аллаха), *Абдурахман* (раб милостивого, милосердного), *Абдукадыр* (раб всемогущественного) и т. п.; при этом под эпитетами *милосердный*, *всемогущественный*, *щедрый*, *дарующий* и т. д. подразумевался тот же Аллах. При всей оригинальности формы этих имен содержание их довольно типично для имен вообще. Ведь всем известные имена греческого происхождения, заимствованные нами из Византии, такие, как *Георгий* (земледелец), *Евангел* (благой вестник), *Епифан* (знатный) и многие другие, в древности были эпитетами Зевса.

К части бурят и калмыков пропик буддизм, через Тибет. Буддийские имена отражают высшие духовные ценности: *Данзан* (опора религии), *Галсан* (счастье), *Дамба* (высший), *Еше* (равум) и т. д.

Имена, связанные с иудаизмом, очень традиционны по составу. Они содержатся в Библии и продолжают употребляться в еврейских семьях, где до сих пор держится традиция называть новорожденного именем ближайшего умершего родственника. Другая традиция исключает возможность наречения ребенка именем живого родственника и даже жепитьбу на девушке, чье имя совпадает с именем матери жениха. Эти традиции способствуют сохранению всего массива имен и не позволяют отдельным именам достигать слишком высокой частотности.

В русских семьях, наоборот, принято называть внуков в честь деда и бабушки, независимо от того, живы они или уже умерли. Так создаются традиционные чередования имен через поколение, например, отец Николай Александрович, сын — Александр Николаевич, внук — снова Николай Александрович (младший). В результате этого в семьях складывается более или менее стабильный состав имен.

Существует еще много различных традиций, связанных с присвоением имен и их употреблением у отдельных народов.

Имена народов СССР и, шире, имена народов мира, собранные вместе, представляют большую культурно-историческую ценность и значительный словарный фонд, содержащий наслоения

различных эпох. Каждый народ и каждое поколение вносили в него свою лепту. В именах отразились настроения и верования, надежды и чаяния, образ мысли и философские взгляды многих народов. Исторические события, культурные контакты — все это зафиксировано в именах личных в опосредованном виде, через языковые формы и отношения. Было бы неверным выводить какие-либо социальные, экономические, политические категории непосредственно из состава имен, но обнаружить их и правильно истолковать, восстановить ситуацию, в которой было создано имя,— все это очень важные, хотя и непростые задачи, стоящие перед исследователем.

Афродита, Венера, Марина, Маргарита

Многим греческим божествам по характеру их функций и личностным особенностям соответствовали римские. Например, Зевсу греков соответствовал Юпитер римлян, верховное, всеми почитаемое божество. Греческой Афродите соответствовала римская Венера, богиня любви и красоты, рожденная из морской пены. Ее именем названа вечерняя звезда. В старых русских календарях встречается мужское имя *Венер*. Широкое распространение в национальных республиках нашей страны женское имя *Венера* получило потому, что у многих народов Востока издавна употреблялось женское имя *Зухра*, образованное от их национального названия вечерней звезды: *Зухра*.

Много добавочных имен и эпитетов было у Афродиты, морской богини. Древние культы ее восходят ко временам финикийцев, прекрасных мореплавателей. На островах Средиземного моря были святилища Афродиты, где имелась ее изображения. Моряки приносили Афродите дары, оставляя на островах в ее святилищах, кроме золота, драгоценные дары моря: жемчуг, перламутровые раковины.

Один из эпитетов Афродиты — *Пелагия*, от греч. *пелагия* — морская. Отсюда известное нам имя *Пелагея* (*Пелагия*). С Афродитой связаны и такие имена, как *Марина* и *Маргарита*. *Марина* — эпитет Афродиты (*морская*) на латинском языке. *Маргарита* происходит от греч. *маргаритес* — жемчуг, жемчужина, что в свое время также было эпитетом красавицы-богини, покровительницы моряков.

Лель, Лада

В 30-е годы в числе новых имен у нас появились *Лель* и *Лада*, образованные от имен древнерусских низших языческих божеств. *Лель* считался богом полей. *Лада* — богиней домашнего

очага и любви. В древности словом *лада* ласково называли друг друга супруги. В «Слове о полку Игореве» Ярославна, обращаясь к силам природы, просит их пощадить в пути и прилепять к пей ее *ладу*. В опере Бородина «Князь Игорь» Игорь называет Ярославну своей голубкой, *ладой*. С течением времени слово *лада* стало употребляться только по отношению к женщине, означая *милая жена*.

В весенней сказке А. Н. Островского «Снегурочка» Лелем зовется веселый молодой пастух. Но филологи несколько развенчивают эти лирические представления. Они возводят оба эти имени к древнерусским напевам и припевам. Сейчас мы часто в песнях припеваем «ля-ля-ля» или «тра-ля-ля». Наши предки припевали «лель-лада», «дид-лада», «лель-полель». Как полагают филологи, постепенно произошла персонификация этих припевов и возникли олицетворенные фигуры — *Лель*, *Лада*, *Дид*, *Полель*. Фантазия народа определила, что *Лель* — сын *Лады*, зажигающий в сердцах огонь любви, а завистливый *Дид* его гасит. *Полель* был объявлен братом *Леля*. Так возникла целая мифическая семья.

Имя *Лада* известно у других славян как сокращенное от *Влада*.



Е. С. Отин,

доктор филологических наук

Название *Усерд* (в современном произношении – ус'орт) встречается только в топонимии Дона. Его получили один из притоков Тихой Сосны, впадающей в Дон между устьями других его крупных притоков – Воронежа и Битюга, а также основанное на нем в начале XVII века укрепленное поселение («город»). Ранние случаи фиксации этого топонима мы находим в воронежских актах первой половины XVII века: «при устье Усерда», «от города Усерда за рекою за Усердом» (1637 г.) и др. Речка Усерд называлась еще *Большим Усердом*, *Большим Усердцем* в отличие от ее притока, в разное время именовавшегося *Малым Усердом*, *Малым Усердцем* или просто *Усердцем*. Название главной реки с суффиксом *-ец*, имевшим уменьшительное значение, появилось в результате распространения наименования притока на принимающую его главную реку благодаря процессу раснодобления омонимичных собственных имен – названий реки (гидронима) и населенного пункта на ней. Подобные случаи такого структурного раснодобления в топонимии Дона отнюдь не единичны. Например: река *Изюм* – город *Изюм*, позднее город сохраняет первичную форму, а река, в устье которой он возник, получает название *Изюмец* с суффиксом *-ец*, который в новых условиях начинает играть топониморазличительную роль (форма *Изюмец* ранее относилась к притоку Изюма).

Интересующий нас составной гидроним в памятниках встречается и в другом виде: с определением *большой* – *Большой Усерд*, *Большой Усердец*; крайне редко – с определением *тихий*: *Тихий Усерд*, появившем в него из составного гидронима более «высокого» ранга – названия принимающей Усерд реки – *Тихой Сосны*. Приток Усерда, или Большой Усерда мог иметь при себе определение *малый*, иногда дублирующее суффикс: *Малый Усерд*, *Малый Усердец* (форма, противопоставленная варианту названия главной реки – *Большой Усердец*).

Укрепленное городище в устье реки Усерд появилось в 30-е годы XVII века. В ряде актов 1637 года мы уже находим упоминания о «верхнем Усердском городище» и «другом Усердском городище», находившемся в «устье реки Усерда», жители которых были «на государевой службе». Во многих документах XVII века, повествующих о событиях на Дону, топоним *Усерд* встречается в качестве названия населенного пункта или местности, урочища, например: «а приходу де чают их под Усерд» (1644 г.), «и на Усерд и на Ольшанск» (1647 г.), «с Усерда города», «до Усерда» (1658 г.), «под Усерд и под Воронеж» (1646 г.) и др. Примечательной географической особенностью города Усерда было то, что он находился между Валулками и Острогжском на равном расстоянии (60 верст). При Петре I часть жителей Усерда переселяется в урочище Бирючью Яругу на левом берегу Тихой Сосны и основывает здесь поселение Бирюч, получившее позднее, при Екатерине II, статус уездного города, а на месте старого Усерда возникла слобода Стрелецкая (сейчас село Стрелецкое).

Обращает на себя внимание, что топоним *Усерд* появляется в одном районе с другим близким по звучанию названием — *Осерёд*, относящимся к левому притоку Дона ниже устья другого его притока Битюга. Устье Тихой Сосны тоже находится недалеко от места впадения в Дон Битюга. Данное обстоятельство, наряду со звуковой близостью, позволяет нам поставить вопрос об этимологической общности этих географически связанных разноструктурных гидронимов. Название *Осерёд* рассматривается нами как перешедший в географическое имя местный географический термин *серёд* с развившимся приставным *а-*. Аналогичным образом в бассейне Красивой Мечи (тоже Верхний Дон) название его левого притока реки *Мутной* получило приставной гласный, откуда варианты *Амутная* и *Омутная*. По данным каталога Г. П. Смолицкой, в бассейне Оки топонимы от прилагательного *мутный* тоже имеют аналогичные приставные звуки: *Мутенка*, *Мутня*, *Амутня*, *Амутна*, *Омутенка*, *Омутна*, *Омутня* — все это варианты названия правого притока Оки в среднем ее течении [Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976]. Начальное *о* на месте *а* в бассейне Дона отмечается и в топонимическом прилагательном *алиманский* (от *алиман*, *лиман*): *Алиманское* озеро отмечено в пойме реки Гнилой, правого притока Дона (Список населенных мест Области Войска Донского по переписи 1873 года. Новочеркасск, 1875), на реке Хворостани, левом притоке Дона (выше устья Битюга) в конце прошлого века существовал населенный пункт *Алиманский*.

Каково происхождение начального звука *y-* в слове *Усерд*, что это: часть корня, приставка или асемантический звук, как в названии *Осерёд*? Он не может произойти из добавочного начального *a-*. Губной звук возможен только из *o*, точнее — из его редуцированного варианта в начале слова, благодаря лабиализации редуцированного. Но такое звуковое изменение начального редуцированного *ъ-* (<*o*) в ряде говоров с неполным оканьем происходит, как правило, во втором предударном слове абсолютного начала слова, ср.: *устрова/устравъ* < *ъстрова* < *острова*, *удновб/уднавб* < *ъдновб/ъднавб* и т. д. и лишь в некоторых случаях на месте исконного *o* «в I-м предударном слове по говорам произносится *o*» или *y*» (Аванесов Р. И. Очерки русской диалектологии). Все сказанное не позволяет считать появление начального *y-* в гидрониме *Усерд* результатом развития *o-* на месте начального *a-*.

Название *Усерд* мы рассматриваем как префиксальное слово, где *y-* является приименной приставкой. Кроме гидронима *Осеред*, восходящего к географическому нарицательному существительному *серёд/осерёд* «отмель на реке; песчаный остров наносного происхождения», имеющего полноголасный вариант корня *-серёд-*, асемантический элемент *o-* (*a-*) мы находим в диалектных словах с корнем без полногласия (*-серд-*), имеющих суффиксальный или флексийный исход: *осердие/осердые*, *осерье*, *осерды* «середина», «внутренность животного, потроха» (Словарь русских народных говоров, Словарь русского языка XI–XVII вв.). Полноголасный вариант праславянского корня **sьrd-* / **serd-* сохраняется в русском языке только в гидрониме *Осерёд* и восстанавливаемом на его основе географическом нарицательном существительном *серёд* / **асерёд* (ср. в составе производных *среда*, *середина*, *средка*), а также в диалектном предлоге *серёд*. Неполноголасный вариант корня в качестве корневого слова в русском языке отсутствует. Он представлен только в связанном состоянии — в сочетании с суффиксом (др.-русс. *сърдьце* < **sьrdьko*) или с другими корневыми морфемами в составе сложных слов (*милосердие*, ст.-слав. *тѣжъносръдѣ* и др.). В рассматриваемом нами случае корень *-серд-* выступает в сочетании с приставкой *y-*. Слово *Усерд* до того, как стало топонимом, представляло собой географический термин с этимологическим значением «середина», впоследствии приобретшим терминологические значения «остров», «песчаный нанос в реке в устье ее притока», «мель», такие же, как и у зафиксированных в словарях его словообразовательных вариантов *осередок*, *осерёмыш*, *серёдок* (Мурзасв Э. М. Словарь народных географических терминов).

Примененная приставка *у-* в значениях «на», «вверх», «в» содержится в целом ряде славянских географических терминов: *увоз* «теснина», *угор* «крутой берег реки», «крутизна», *удол* «низина» (ср. др.-русск. *удоль*, *удоль*; ст.-слав. и црк. *юдоль* — первоначально «долина»; польск. *wałwóz* «овраг», *wałdół* «овраг, долина; выбоина, ухаб» и др.) [Фасмер М. Этимологический словарь русского языка]. К этому списку, очевидно, следует добавить *урыв* «высокий крутой обрыв речного склона, обычно подмываемый рекой, с выходами коренных пород», *уров*, *урочище* «глубокий овраг» (ср. корневое слово *ров*), а также *ущелье* (ср. бесприставочные варианты *щелье*, *щелья* и *щель*). С местным географическим термином *урыв* и его не зафиксированным словарями вариантом *урва* (ср. укр. *урвище* «обрыв, круча, крутизна») безусловно связаны верхпедонский гидроним *Урванка* (исток Дона; берега его высоки и круты), а также небольшая группа гидронимов бассейна Оки: река *Урва*, озеро *Урвановское*, овраг *Урвынский* (Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки). Ср. еще: деревня *Урвань* в Мещевском районе Калужской области РСФСР. Предположение о том, что начальный *у-* в гидрониме *Усерд* не был когда-то бессмысленным элементом слова, подтверждает и наличие в бассейне Усерда другого гидронима (тоже образованного от местного географического термина) с такой же приставкой. Это его левый приток *Утеча*, или *Утечь Колодезь*, речка *Утечь*. Ср. укр. *теча* «течение», с приставкой *не-*, представленное в гидрониме *Нетеча* (бассейн Северского Донца), белор. *утока* «приток», «устье реки».

Не повзвнее в письменные источники старорусское слово *усерд*, по-видимому, на дотерминологической стадии имело значение «середина». Оно могло сохранить это значение и тогда, когда стало термином (известно, например, употребление со значением «середина» географического нарицательного существительного *сердце*, имеющего тот же вариант корня) (Мурзаев Э. М. Укая. соч.). Так же, как его разноструктурные синонимы *серѣд* и *осерѣд*, оно могло быть и предложным паречием со значением «посреди», «в центре чего-л.».

Как структурно-смысловая параллель к восстановленному нами нарицательному существительному *усерд* вызывает интерес старорусское существительное *укромъ* (<*у-*+*кромъ* «граница, предел, край чего-л.») — «отдаленное место»; позднее развивается переносное значение «приставнице». В. И. Даль иллюстрирует его в Толковом словаре примером: «Так приставиши же в мою укрем, в мою укрому!».

Сейчас уже трудно определить, с каким значением перешло в топоним географическое нарицательное существительное *усёрд*. Тот факт, что в одном районе Верхнего Дона получили отражение в его гидронимии оба диалектных слова с корнем *-серд-/серед-*, можно объяснить, во-первых, диалектной варплативностью морфемной структуры одного и того же термина и, во-вторых, тем, что эти структуры уже стали разошедшимися и по значению словами. Если термин *усёрд* топонимизировался со значением «середина», то *Усёрдом* первоначально могло быть названо городище в устье безымянного притока Тихой Сосны, который позднее благодаря контактному переносу наименования поселения получил такое же название. Это городище занимало срединное положение между очень важными географическими пунктами на южнорусских землях в начале XVII века — городом Вадуйки и урочищем Острогоще, где на месте какого-то более раннего поселения в середине XVII века основывается Острогожский острог, ватем — город Острогожск (на реке Острогоща). Географическое нарицательное существительное *усёрд*, если оно так же, как и *осерёд*, развило вторичное значение «панысы речных отложений, мель» (в месте впадения в Тихую Сосну ее левого притока), вначале могло относиться к данной географической реалии. Известно, что такие мели часто использовали для перехода речки вброд кочевники. Через эту мель в устье Усёрда проходила одна из стених дорог, которой пользовались в конце XVI — начале XVII века татары для набегов на русские земли. Прямое указание на это мы находим на «Генеральном плане Бирюченского уезда», а также на «Генеральном геометрическом плане города Бирюча и его уезда», где в месте впадения реки Усёрд в Тихую Сосну (и где в начале XVII века был основан город Усёрд) отмечена река Сакма. В наше время в забытом гидрониме *Сакма* отразилось широко известное в XVI—XVII веках слово *сакма* «стениая дорога, которой пользовались крымские татары в своих набеггах на южнорусскую землю». Для охраны этого татарского перелаза через Тихую Сосну и было построено укрепленное городище, на которое затем было перенесено название урочища. Впрочем, сейчас уже невозможно установить со всей определенностью, в каком направлении и в какой последовательности происходили переносы топонима — на городище, а потом на реку или наоборот. Такая передвижка могла иметь и одноступенчатый характер: название урочища благодаря ассоциации по смежности могло одновременно распространиться на реку и городище.



Почему Боспор стал Керчью?

Э. А. Бушаков

Древнейшее название города Керчи — *Пантикапей*. Пантикапей был столицей Боспорского царства. Название царства издревле переносили на его столицу, и впоследствии имя *Боспор* вытеснило в византийские времена название *Пантикапей* (Кулаковский Ю. А. К вопросу об имени Керчи // Сборник в честь проф. Ф. Корша. М., 1897).

Топоним *Пантикапей* объясняется из иранских языков как «рыбный путь» (*panți* «путь» и кара «рыба») [Соболевский А. И. Русско-скифские этюды // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1921. Т. 26]. Так, вероятно, назывался и Керченский пролив.

Готский историк Иордан (VI в.) в сочинении «Гетика» (Иордан. О происхождении и деяниях гетов (*Getica*). М., 1960) перечисляет ряд городов Скифии: «С той стороны, которой Скифия достигает Понтийского побережья, она охвачена небезызвестными городами; это Борисфенида, Ольвия, Каллиполида, Херсона, Феодосия, Карсеон, Мирмекий и Трансезунта, основать которые дозволили грекам непокорные скифские племена, с тем, чтобы греки поддерживали с ними торговлю».

Е. Ч. Скрижинская в комментарии к сочинению Иордана ставит вопрос, не имеет ли загадочное название *Карсеон* (*Carseo*) отношение к будущему названию *Корчев*. *Керчь*, как думал Ю. А. Кулаковский. Название *Карель* после Иордана всплывает лишь раз у византийского автора Лаоника Халкокондила (XV в.) в упоминании о том, что татары продавали в рабство черкесов, миягрелов и аланов в Боспоре, в городе Карель.

Е. Ч. Скрижинская отметила, что «ввиду того, что Лаоник ве-

сколько выше пишет о Боспоре в связи с Фракией, нельзя утверждать, что город Карей относился к Таврике».

Возможно, что под Кареюном Иордана скрывается название города Каркинитиды, существовавшего на месте нынешней Евпатории. Каркинитида вместе с Калос лимен («Прекрасная гавань») принадлежала античному Херсонесу. «Прекрасная гавань» (Акмечеть, ныне Черноморское), по мнению Е. Ч. Скрипичевой, может скрываться под именем *Каллиполида* у Иордана.

Многие историки относят появление топонима *Керчь* к X в. на том основании, что он упомянут в пространной редакции письма хазарского царя Иосифа (X в.), которое существует также в краткой редакции.

В пространной редакции письма упомянуты 13 селений. Все они, кроме селений *Шркил*, *Смьрц*, *Кут* и *Бурк*, должны располагаться в Крыму: *Крц* (Керчь), *Суграй* (Судак), *Алус* (Алушта), *Лмбт* (Ламбат), *Бртнит* (Партезит), *Алубика* (Алупка), *Микт* или *Микп* (Мангуп), *Алма* (Алма-Кермен) и *Грузии* (Херсон). П. К. Коковцов (Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932) доказал поддельный характер этой редакции письма царя Иосифа. В краткой же редакции этого письма вышеназванные селения вообще не упоминаются.

Мне удалось найти источник, из которого фальсификатор пространной редакции заимствовал часть названий этих селений. Этим источником послужил ему трактат византийского императора Константина Багрянородного (X в.) «Об управлении империей» (М.: Наука, 1989). Селению *Шркил* у Константина Багрянородного соответствует хазарская крепость Саркел, *Смьрц* < *Тмтрк — крепость Таматарха, против Боспора, *Крц* — крепость Боспор, *Кут* < *Срт — река Серет, или Сарат, *Бурк* < *Бурт — река Брут, или Бурат — современный Прут, *Грузии* — крепость Херсон.

Гидронимы *Сарат* и *Бурат* превратились в пространной редакции в ойконимы потому, что ее составитель принял названия этих двух рек в трактате за названия городов: «...Пачинакия занимает всю землю [до] Росии, Боспора, Херсона, Сарата, Бурата и тридцати краев».

Замена одних букв другими в топонимах, заимствованных у Константина Багрянородного, происходила ввиду графического сходства этих древнееврейских букв между собой при переписывании уже фальсифицированного варианта письма Иосифа, которое было написано на древнееврейском языке.

Город Керчь не упоминается ни в одной русской летописи (см.: *Этимологичний словник літописних географічних назв Південної Русі*, Київ, 1935). Правда, он упомянут в «Житии Сте-

фана Сурожского». Стефан Сурожский, прозванный Исповедником, в 767 г. подвергся преследованию со стороны византийского императора Константина Копровима и бежал в Сурож (Судак) в Тавриде. «Житие» известно в двух редакциях: краткой (оригинал на греческом языке и русский перевод) и расширенной (только русский перевод, выполненный в XVI в.). Топоним *Корч*, *Керчь* (*Корчев*, *Керчев* в некоторых списках «Жития») упоминается лишь в расширенной редакции (Спицын А. Тмутараканский камень // Записки Отделения русской словесности и археологии Русского археологического общества. Пг., 1915. Т. 11; Мопгайт А. Л. Надпись на камне. М., 1969; Брайчевский М. Ю. Утверждения християнства на Русі. Київ, 1988).

Керчь (в форме *Кърчевъ*) упомянута в знаменитой надписи на Тмутараканском камне, датированной 1068 г. В надписи сообщается, что в 1068 (6576) году тмутараканский князь Глеб Святославович измерил по льду ширину Керченского пролива («мъриль море по леду отъ Тъмутороканя до Кърчева»). Результаты измерения дали 14 тысяч саженей.

Камень был найден в 1792 г. в развалинах турецкой крепости Тамань, находившейся на месте древнегреческого города Фанагории, при довольно странных обстоятельствах, которые послужили основанием для сомнений в подлинности сделанной на нем надписи. Эти обстоятельства подробно изложены в названной работе археологом А. А. Спицыным и историком Крыма А. Л. Бертье-Делагардом (Заметки о Тмутараканском камне // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1918. № 55).

После публикации Тмутараканской надписи А. И. Мусиным-Пушкиным в 1794 г. последовали споры о ее подлинности, продолжающиеся до наших дней (Медынцева А. А. Тмутараканский камень. М., 1979).

А. А. Спицын относительно подлинности надписи высказался так: «...подлинность надписи вполне допустима, но допустима и фальсификация ее. В пользу последней говорила особенно бесцельность надписи и исключительная аккуратность ее, не имеющая аналогий в памятниках».

По мнению А. Л. Бертье-Делагарда, «надпись кв. Глеба столь прочно и твердо укреплена в своей подлинности, что не только не нуждается ни в каких исторических, палеографических и лингвистических подержках, но сама может им служить прочной опорой в сомнительных местах».

Видный советский историк и археолог А. Л. Мопгайт в заключении посвященной Тмутараканскому камню книге пишет: «Большинство данных говорит в пользу того, что камень подлинный;

и можно бы „очистить свою совесть от подозрений“. Но до тех пор, пока надпись остается уникальной, у скептиков есть основания для сомнений, и окончательно разубедить их сможет лишь дальнейшее развитие науки».

А. А. Медынцева, посвятившая Тмутараканскому камню обстоятельное историко-филологическое исследование (Тмутараканский камень. М., 1979), пришла к категорическому выводу о его подлинности: «...если у ученых XIX и начала XX в. были объективные основания сомневаться в подлинности надписи, происходящие от общего уровня развития исторической науки, повторение старых сомнений в подлинности надписи на Тмутараканском камне в наше время можно объяснить лишь упорным нежеланием считаться с действительными фактами».

Найденный в Тамани камень был отправлен в Таганрог, откуда доставлен в Севастополь, а затем в Николаев. Последовал приказ Екатерины II вернуть камень на место.

Таврический губернатор С. С. Жигулин писал вице-губернатору К. И. Габлицу: «Милостивый Государь мой Карл Иванович! Ея императорское величество высочайше повелеть соизволила, чтобы известный камень, найденный на острове Фанагории и взятый отсюда господином бригадиром Пустошиным, перевезен был на прежнее место, откуда взят, и оставлен был впредь до указа, с устройением приличного вокруг его ограждения, и чтобы снята была его мера, а больше всего слова на нем находящиеся в точной их величине и почерке; и рисунок сей дабы поднесен был ея императорскому величеству» (Монгайт А. Л. Надпись на камне).

Характерна и надпись, сделанная в 1803 г. И. А. Львовым-Никольским на монументе в церкви, в которой хранился камень: «Свидетель веков прошедших послужил великой Екатерине к обретению исторической истины о царстве Тмутараканском, найденный в 1792 г. атаманом Головатым. Свидетельство сему сообщил гр. Пушкин. Из бытия извест Львов Никольский 1803 г. VIII. 7 при начальстве мавра Васюренцова, при настоят. протоирея Павла Деменко» (Там же).

Писатель и журналист П. Н. Свиньин прямо указывал в 1826 г. на причину подделки камня: «По политическим обстоятельствам того времени правительство даже поддерживало мнение, что Тамань есть древнее русское княжество» (Свиньин А. Тмутараканский камень).

Перед западными державами Тмутараканский камень должен был служить археологическим доказательством исторических прав России на земли Северного Причерноморья, захваченные Турцией

в 1475 г. В 1783 г. к Российской империи был присоединен Крым.

По начертанию буквы Тмутараканской надписи очень похожи на письмо Остромирова евангелия (1056–1057 г.), которое до 1700 г. находилось в Московском кремле, но в 1770 г. книга была затребована в Петербург, а в 1806 г. найдена в компатах Екатерины II (Черешнин Л. В. Русская палеография. М., 1956). В книге «Летопись русьский» (Киев, 1989) приведены фотографии первой страницы Остромирова евангелия и надписи на Тмутараканском камне, и читатель может сам убедиться в сходстве начертаний букв евангелия и надписи.

Содержание Тмутараканской надписи ее фальсификаторам подсказали древнерусская летопись, античные и средневековые писатели, в сочинениях которых упоминается Керченский пролив (Боспор Киммерийский).

В Ипатьевской летописи под 1064 годом говорится о том, что Ростислав, сын Владимира, внук Ярослава, вместе с воеводой Пореем и Вышатой, сыном повгородского воеводы Остромира (!), бежал в Тмуторокань, откуда изгнал Глеба Святославича (!) и занял его место. В 1065 г. Святослав ненадолго вернул Глебу Тмуторокань, но после ухода Святослава Ростислав вновь изгоняет Глеба. В 1066 г. греки отравили Ростислава. О пребывании Глеба в 1068 г. (год изготовления надписи на камне) в Тмуторокани не сообщается в летописи.

Геродот (V в. до н. э.) писал: «Вдл. эта страна, о которой было сказано, отличается необычно холодными зимами; здесь в течение восьми месяцев мороз такой востерший, что если в это время разлить воду, то грязи ты не получишь. Но если разжечь огонь, то ты получишь грязь. Замерзает море и весь Боспор Киммерийский. И скифы, живущие по сю сторону рва, совершают по льду военные походы и перегоняют крытые повозки на противоположный берег, на землю скифов» (Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова Н. А. Народы нашей страны в «Истории Геродота». М., 1982).

У Плиния Старшего (I в. н. э.) читаем: «Остается назвать милетский Пантикапей, самый мощный город у входа в Боспор; он отстоит от Феодосии на 77,5 мили, а от города Киммерия, расположенного на другой стороне пролива, как мы уже говорили, на 22,5 мили. Такое пространство отделяет Азию от Европы, и оно часто доступно для перехода пешком, когда замерзает пролив. Длина Боспора Киммерийского 12,5 мили; на нем расположены города Гермисий, Мирмекий, в самом проливе — остров Алопека» (Скражинская Е. Ч. Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего. Киев. 1977).

Так описывает пролив Константин Багрянородный: «Из Мео-тидского озера выходит пролив под названием Вурлик и течет к морю Понт; на проливе стоит Боспор, а против Боспора находится так называемая крепость Таматарха. Ширина этой переправы через пролив 18 миль. На середине этих 18 миль имеется крупный низменный островок по имени Атех».

На это известие Константина Багрянородного, как на отправную точку для фальсификации, указывает А. А. Спицын (Тмутараканский камень). Случай, по новоду которого была сделана надпись, вызвал недоумение академика П.—С. Палласа, так как случаи замерзания Керченского пролива не столь уж редки (Там же).

А. А. Спицына заинтересовала форма *Кърчевъ*: «Дело будущего установить действительную историю слова „Корчев“. ...Во всяком случае трудно допустить, чтобы фальсификатор выдумал эту форму: скорее он нашел ее где-то готовую. Здравый смысл подсказывает, что если она была, то могла быть разыскана» (Там же).

Возможно, что форма *Кърчевъ* в Тмутараканской надписи была подсказана ойконимом *Корчева* в Тверской губернии, с которым педагог и писатель Д. Ф. Щеглов (1867 г.) сопоставил ойконим *Керчь*, предположив финское происхождение первого (Кулаковский Ю. А. К вопросу об имени Керчи).

Ойконим *Корчева* объясняется из нарицательного существительного *корчева* «выкорчеванное место; земля, освобожденная от леса и подготовленная под пашню; рощище» (Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., 1984).

В 1333 г. селение Боспор (итал. *Vosporo*), которое принадлежало черкесским князьям и называлось *Черкио* (итал. *Cerchio*, *Cerch*), стало генуэзской колонией. Генуя владела Керчью до захвата последней турками в 1475 г. (Мурзакевич П. История генуэзских колоний в Крыму. Одесса, 1837; Брун Ф. К. Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России. Одесса, 1880. Ч. 1).

Принадлежность Керчи черкесам в XIV в. не должна вызывать особых сомнений. В XVIII в. черкесы жили в соседней с Керчью деревне Аджимушкой (или Хадчи-Мышкай), состоящей из пяти дворов (Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1868. Т. 7). Название *Аджимушкой* (ср.: антропонимический ойконим *Хаджимус* в Буджаке) входит в один ряд со следующими ойконимами Адыгей: *Габукай*, *Гатлукай*, *Егерухай*, *Лакишкай*, *Новый Вжекокай*, *Понежукай*, *Тохтамукай*, *Хатажукай*, *Хатукай*, *Эденсукай* и др., в которых топонимический фор-

мант — *кай* (адыг. — *къуай* <къуэ «сын» как патронимический элемент антропонимов + притяжательный именной аффикс *-ай*) выражает их владельческий характер. Компонент *Муш* ~ *Мыш* представлен в крымско-татарском антропониме *Ян Муш Дуван* (1524 г.) [Заниски Одесского общества... 1863. Т. 5].

Топоним *Керчь* засвидетельствован в XIV в. Ибн-Баттутой и Рукнеддин Бейбарсом (*Крдж*), в XV в. — Иосафатом Барбаро (*Chers*), в XVI в. — русскими летописями (Кулаковский Ю. А. К вопросу об имени Керчи).

Крымские татары сближают топоним *Керчь* с крым.-тат. нарицательным существительным *киреч* «известь», ср.: два ойконима и ороним *Киреч* в Турции. Эта народная этимология не учитывает ни обстоятельств, ни времени возникновения топонима.

С топонимом *Керчь* совпадает географический термин *керчь*, обозначающий дурные земли к востоку от озера Зайсан, обрывы и останцы по берегам рек Урунгу и Черного Иртыша: *Кашкар-Керчь*, *Коксун-Керчь*, *Аласа-Керчь*, *Бараган-Керчь* (Мурзаев Э. М. Словарь...). Термин *керчь*, видимо, можно сопоставить с тур. *kiğaç* «неплодородный, бесплодный (о земле)».

Еще в 1844 г. академик П. Г. Бутков объяснял топоним *Керчь* из армянск. *хрчанах* «горло» (*хрчаг*, по замечанию историка Г. И. Снасского) или из армянск. *кирдж* (*киргш* в современной орфографии) «ущелье, теснина» (Спицын А. Тмутараканский камень). Понятие «горло» в армянском языке выражается словами *оркор*, *хучап'од*, *кокорд*, *буг* (Дагбашян А. С. Полный русско-армянский словарь. Тифлис. 1906).

Академик А. И. Соболевский топоним *Кърчевъ* объяснял как прилагательное от **кърчь*, производя последнее от др.-русск. *къркъ* «горло, шея», а топоним *Керчь*, по его мнению, восходит непосредственно к **кърчь* (Русско-скифские этюды // Изд. отд. языка и словесности АН СССР, 1923).

Советский языковед-иранист В. И. Лбаев выводит топоним *Керчь* из др.-русск. *кърчи* «кузнец» (Из истории слов: Древнерус. *кърчи* «кузнец» и топоним Керчь // Вопросы языкознания. 1969. № 1).

Дж. П. Коков объясняет Керчь из др.-русск. **керкь* «черкесский», возводя **керк* «черкес» к этнониму *керкеты* античных писателей (Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966). Этноним *черкес* возник в XIII в. и к этнониму *керкеты* не имеет отношения. **Керкь* на восточнославянской почве должно было бы дать по *Керчь*, а **Черчь* (Этимологичный словарь...).

Этимологию А. И. Соболевского уже в наше время поддержал член-корреспондент АН СССР О. П. Трубачев, который связывает др.-русск. *Кърчевъ* с индо-арийским *kṛka- «горло» (Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // Вопросы языкознания. 1977. № 6).

Появление ойконимов *Черкио* и *Керчь* не ранее XIII в., а также неубедительность предложенных этимологий этих ойконимов, дают основание предложить итальянско-тюркскую версию происхождения названия города Керчи.

Ойконим *Черкио* сопоставим с итал. паричательным существительным *cerchio* «круг, окружность», ср. также: итал. *cerchia* «круг, окружность; городские (крепостные) стены». У турок и татар Керчь называлась *Kerş* (или *Gerş*) *hisar*. Татарское (*x*)*исар* и тур. *hisar* «крепость, укрепление», «ограда (из камня)» восходят к араб. *hisr* «осада», «крепость, укрепление, замок», «ограда» (от глагола *ḥṣr* «окружать, ограничивать, осаждать»).

Итал. *Черкио* на тюркской почве в результате отпадения конечных гласных и перестановки согласных могло дать *Керч* (или *Керш* в кипчакском произношении), ср.: крым.-тат. *эчки~кечи* «коза», кумык. *чѣк~гѣч* «опускаться, соедать», карач.-балк. *бахча~бачха* «сад», кирг. *кычыр~чакыр* «звать», а также афг. (пушту) *чакү~качү* «перочинный нож».

В заключение можно сказать, что ойконим *Керчь* возник не ранее XIII в. Его вероятной первоначальной формой является итальянский термин *cerchio* «место, обнесенное крепостной стеной», возможно, калькирующий в топониме *Керчь* арабско-турецкое *hisar* «крепость». На тюркской языковой почве итал. *Cerch[io]* дало *Керчь*.



«На головушку сели!»

В. А. Коршунков

В старину у многих народов бытовало представление, что весну приносят птицы.

По славянским поверьям, которые легли в основу многих поэтических образов, всю зиму птицы проводят в заморской стране — *вырие*, а по весне возвращаются оттуда и отпирают золотыми ключами весну-красну. В Енисейском крае матери так возвещали радостную весть о весне своим детям: «Жаварёнки прилетели, на головку малым детям сели!»

Не правда ли, эти слова напоминают что-то давно знакомое, быть может лишь чуть подзабытое? Ну конечно! «Шу-у, полетели, на головушку сели!» Ведь так заканчивается детская песенка-потешка «Ладушки» («Ладушки-ладушки, где были? — У бабушки!»). И песенка-потешка про сороку-белобоку, что «кашку варила, деток кормила». И еще одна, менее известная потешка — «Дроздок»:

Скок-поскок,
Молодой дроздок.
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодиченька
Невеличенька.
Сама с вершок —
Голова с горшок!
Шу-у, полетели,
На головку сели!

Все три потешки представляют собой игры-забавы с самыми маленькими. Паневая «Ладушки», взрослые помогают малышу хлопать в ладоши, играя в «Сороку» — водят пальцем по его ладони и перебирают один за другим пальчики, а «Дроздка» поют, подбрасывая ребенка на коленях. В конце, со словами «Шу-у, полетели, на головушку сели!» — поднимают ручки малыша на голову. Смысл этой копцовки не очень-то понятен, он даже не вяжется с предыдущими словами, ну да кто станет задумываться над такими пустяками!

«Ладушки» кончаются такой фразой всегда. «Сорока» — примерно в половине всех случаев, поскольку кроме этого варианта имеется и другое, не менее популярное завершение: ленивый меньший братец, который «дров не рубил, каши не варил», а потому и не получил своей порции, направляется на трудовое перевоспитание:

Иди, малый по водицу,
 На холодную криницу.
 Тут пень,
 Тут колода,
 Тут мох,
 Тут болото,
 Тут холодная водица!

И при последних словах, потихоньку пробираясь от ладошки малыша все выше и выше по руке, щекочут у него подмышками. «Дроздок» тоже не всегда заканчивается нашим «Шу-у, полетели!..», так как частенько песенка сбивается на иную тему, пришедшую, очевидно, из других детских стишков:

Молодичка-молода,
 Калачей папекла.
 Прилетели грачи,
 Расхватили калачи!

Но имеется ли какая-либо связь между подобной концовкой детских потешек и словами, обращенными к детям при встрече весны в Енисейском крае? Не может ли быть здесь простого совпадения?

Присмотримся к старинным весенним обрядам внимательнее.

Народный праздник встречи птиц происходил в разных местностях в различное время, но обычно его приурочивали к одному из трех мартовских дней (по старому стилю): либо к 1-му числу — с него до 1348 г. на Руси начинался год, либо к 25-му — на этот день приходился очень важный церковный праздник Благовещения, но чаще всего — к 9-му марта, на равноденствие. К этому дню пекли особое обрядовое печенье, причем обычно придавали ему форму птичек: были у него крылья, была голова с гребнем, глазок птички делался из изюма. Называлось такое печенье по-разному: *кулики*, *жаворонки*, *галки*, *грачики* и т. п. Кроме птичек из теста иногда делали подобные изображения из дерева и глины. Этим тестяным, а иногда глиняным или деревянным «птичек» в условленный день «закликали». Главными действующими лицами обряда были дети. Поутру они брали испеченных матерями и бабушками «жаворонков» и шли все вместе

за околицу, в огород, к сараям, стогам. Своих «птичек» несли не только в руках, но и на соломинке, пестке, либо на голове(!). Придя на место, рассаживали их на верхушках стогов, на кольях забора и пачинали протяжно распевать:

Жаворонок, жаворонок!
На тебе зиму,
А нам лето!
На тебе сани,
А нам — телегу!

Галушка-ключница!
Вылети с заморья,
Вынеси два ключа,
Два ключа золотые:
Замкни зиму, холодную,
Отомкни лето, лето тепляе...

Ой вы жаворонки,
Жавороночки!
Летите в поле,
Несите здоровье:
Первое — коровье,
Второе — овечьё,
Третье — человекье!

В этих закличках варьировались названия призываемых птиц (*жаворонки, кулики, галушка-ключница* и даже *пчельница ярая*), но текст их был прост и потому достаточно устойчив: просили обменять или замкнуть надоевшую зиму, что «весь хлеб поела», отомкнуть весну-красну и еще просили здоровья для людей и скота.

Судьба печеных птичек везде была одинакова: их съедали. Правда, не всегда сразу. Часто им отрывали голову, и одну часть «птички» съедали тут же, а другую — впоследствии. Порою кусочки «птичек» скармливали скоту. Принесенное жаворонками здоровье понималось, таким образом, как нечто сугубо вещественное.

Итак, во время обрядового хождения за околицу для закличания птиц, дети несли своих «жаворонок» и «куликов» между прочим и на голове. Это и объясняет слова концовки потешек! Должно быть, чаще «птичек» несли просто в руках или на пестках, да и рассаживали их потом на разных палках. Но вполне понятно, почему возобладал вариант «На головку сели!»: песенки постепенно потеряли всякую видимую связь с весенним обрядом и превратились в детскую забаву. А голова и в этом случае была в буквальном смысле под рукой.

Однако весьма примечательно, что в наших потешках до сих пор встречаются и такие варианты концовки, которые иначе, чем

сравненном с обрядами закличания птиц, не объяснить. Я составил специальные анкеты и обратился к некоторым из моих знакомых. В результате записал вот какие слова: «Шу-у, полетели, на шесток сели!» и «Шу-у, полетели, на заборе сели!» Последний вариант даже каким-то образом попал в книжку-малышку «Сорока-белобока. Русская народная потешка» (М., Малыш, 1985). Обе эти концовки потешек гораздо менее понятны и еще хуже вяжутся с предыдущими словами, чем обычное завершение, а оттого они в наше время чрезвычайно редки. Хорошо еще, что эти варианты вообще дошли до наших дней!

Итак, обрядовая концовка несомненно указывает на связь детских потешек с весенним праздником встречи птиц. Мне могут возразить, что песенку о сороках не должны были петь в этот день — сорока ведь птица не перелетная, она на зиму никуда не улетает и по весне не возвращается, а, значит, ее не нужно встречать! Можно ли связывать потешку «Сорока» с обрядами этого дня?

Для ответа на такой вопрос надо вспомнить, что наиболее распространенным сроком встречи весны и закличания птиц было 9 марта. А по православному календарю, это был день памяти сорока мучеников! *Сброки*, как называл его народ. Соответственно, по простому созвучию слов, из всех птиц особо выделялась сорока. Крестьяне, конечно, прекрасно знали, что она на зиму не улетает. Поэтому в народных приметах и присловьях этого дня подчеркивался не прилет (как у прочих птиц), а обоснование на выбранном месте после зимнего прозябания: «На *Сброки* сорока гнездо завивает», «кладет в гнездо сорок палочек». И вообще число *сорок* было вплетено во все поверья, связанные с 9-м марта: *Сорок пичуг на Русь пробирается, Прилетает сорок сороков птиц*. В *Сброки* внимательно следили за погодой, полагая, что и в последующие сорок дней погода будет такая же, как и в этот. Чаще всего думали, что после 9-го марта наступят еще сорок утренников — то есть предутренних заморозков. В южных районах это предсказание не всегда сбывалось: заморозки в течение еще почти полутора месяцев были там редкостью. Тогда в счет шли помимо утренников еще и вечерние морозцы, и число холодных дней сокращалось таким образом вдвое — лишь бы сохранить примету с ее магическим числом сорок!

Вот почему нет ничего странного в том, что и песенки о сороке могли распеваться в день закличания птиц.

Конечно, не следует думать, будто на старинных весенних праздниках пелись слово в слово те самые песенки, что стали впоследствии детскими потешками «Ладушки», «Сорока» и «Дроз-

док». За долгие века своей истории они, несомненно, видоизменились, хотя основные мотивы, образы, сюжетные варианты и даже, как мы убедились, отдельные выражения в них до сих пор несут на себе отпечаток обрядового происхождения этих потешек. Поэтому необходимо исследовать каждую из детских потешек в связи с выявленной причастностью их к весенним обрядам.

Очевидно, таким путем можно восстановить и те отмеченные нами из собирателей фольклора слова, с которыми матери и бабушки («где были? — У бабушки!») подавали испеченных ими птичек детям «Шу-у, полетели, на головушку сели!», «Жаварёнки прилетели, на головку малым детям сели!» — говорили они. И дети бежали за околицу, неся своих «жаварёнков» — порою действительно на голове — закликать...

Видимо, помещение «птичек» на голову, так же как и на шесток, соломинку, вершину стога, на кол забора, имело целью подвять их повыше, поближе к небесам, то есть уподобить изображения настоящим, прилетающим птицам.

Ленинград



О старом «новом серебре»

Г. Л. Зеленин

Отец Павел, герой небольшого рассказа Н. С. Лескова «О новом золоте» из цикла «Заметки неизвестного» (1884) был отмечен за службу золотым крестом. Однажды он узнал, что точно такой же награды удостоился другой священник. Самолюбие отца Павла настолько пострадало от этого известия, что он «...не стерпел и стал утверждать в компаниях, что дарованный священнику крест сделан „из нового золота“». Такое заявление быстро дошло до повонагражденного и было им воспринято как оскорбление. Дело в том, что в то время *новым золотом* назывался металл, похожий на золото лишь внешне, а фактически ничего общего с ним не имевший. Он употреблялся для подделки под золото и был не чем иным, как сплавом меди и цинка или попросту латунью.

Отцу Павлу пришлось бы держать ответ за свои слова, если бы он не сумел остроумно отвести обвинения в оскорблении повонагражденного, заявив, что под «новым золотом» разумел золото, взятое из новых слитков, так как «...орденские знаки и кресты никогда из старого, перетопленного и во всяком употреблении бывшего золота не делаются, а из новых, чистых слитков рубятся и опробуются».

Употребляя название *новое золото*, святой отец, конечно, не ведал, что если и есть в нем что-то новое, то только само название. Медно-цинковый сплав, цветом напоминающий золото, известен людям очень давно. Из него чеканились монеты еще в Древнем Риме. В отличие от золота этот сплав был простым в изготовлении и дешевым. Именно его и ему подобные имел в виду Богдан Ильич Бельский, герой очерков М. Н. Загоскина «Москва и москвичи». Рассуждая о золоте, он говорил: «Золото везде редко, а томпак, семилер и всякая другая блестящая композиция, которую иногда стараются выдать нам за золото, право же не стоит нашего простого железа». Французское *similor* означает «поддельное золото». Слово *томпак* (или *томбак*) — это па-

звание медно-цинкового сплава цветом от золотисто-желтого до медно-красного, употребляемого для поддельного золотого листа.

Томпак и его разновидность томбасил получили большое распространение в прошлом столетии как дешевый и доступный материал для украшений, для изготовления различных инструментов, отливки оболочек пуль и снарядов.

Основным применением томпака было все же изготовление «нового золота» в виде листов, из которых затем легко штамповались, например, корпуса для карманных часов, называвшихся *томпаковые луковичцы*, очень модных среди городских мелких купцов и ремесленников, в праздничные дни надевавших такие часы на тонкой бронзовой цепочке.

Кроме *нового золота* известно также *новое серебро* — металл, имитирующий серебро настоящее. Его история, как и история нового золота, восходит к глубокой древности. Впервые сведения о нем появились в Китае во втором тысячелетии до нашей эры, и поэтому одним из первых названий сплава было *китайское серебро* или *пакфонг*. Из этого сплава в Древнем Китае чеканились монеты, изготавливались различные украшения. В конце XVIII века изделия из китайского серебра были впервые завезены в Европу и были сначала очень дороги. Особое внимание на китайское серебро обратили инженеры — металлурги в Германии. Они быстро изучили сплав, установили, что его компонентами являются медь, никель и цинк, и освоили процесс получения этих металлов из руды.

Стремление научиться изготовлять сплав, аналогичный китайскому серебру, которое продолжало оставаться очень дорогим, привело к тому, что в первое десятилетие XIX века в Саксонии был получен сплав, сходный по составу с китайским пакфонгом. Он стал называться *нейзилбером* (Neusilber), что полностью соответствует русскому — *новое серебро*, где *neu* «новое», *silber* «серебро».

Вторая часть немецкого слова *нейзилбер* в русском языке тесно связана с группой однокоренных слов, называющих исторически реалии немецкой действительности, таких как *зилбергрош* (мелкая серебряная монета), *зилбердинер* (слуга, следящий за серебром), *зилберкамера* (помещение для хранения серебра) и др.

Внешне немецкий нейзилбер, как и китайское серебро, было трудно отличить от серебра настоящего. Поэтому нейзилбер начал широко использоваться для изготовления столовых приборов и посуды, корпусов для карманных часов, предметов бижутерии и т. д. Кроме того, нейзилбер быстро нашел применение в тех-

нике, стал необходимым материалом для деталей различных машин и механизмов. Появились его специальные разновидности: в ювелирном деле, например, использовался *аргентан* — нейзильбер с добавлением олова и железа, в машиностроении применялся *аргентин* — нейзильбер с высоким содержанием цинка и т. д.

Несмотря на успехи в разработке нейзильбера, немецким металлургам не удалось получить сплав меди и никеля без примесей. Это сумели сделать два талантливых французских инженера из Лиона — Майо (Maillot) и Шорье (Chorier). Изобретенный ими сплав меди с никелем стал называться *майшор* (Maillechort) на основе слияния сокращенных частей фамилий изобретателей. Такое название не пришлось по душе немецким металлургам, считавшим себя пионерами в изготовлении нового серебра. Но немецкий нейзильбер существенно отличался по составу от французского майшора, и спорить с этим было бессмысленно. Все же, стремясь к онемечиванию металлургической номенклатуры, майшор в Германии (а затем и в других странах Европы) стали называть *мельхиором*, так как имя собственное Мельхиор (Melchior) имело некоторое сходство с французским Maillechort в звучании и написании.

Именно слово *мельхиор*, а не *майшор* стало со временем самым распространенным названием медно-никелевых сплавов. По сравнению с нейзильбером и его разновидностями мельхиор отличался простотой в обработке, большой стойкостью к окислению и к коррозии, внешне выглядел более нарядно. *Мельхиоровыми* со временем стали называть не только изделия из мельхиора, но и из нейзильбера. Кроме того, посуду из мельхиора, галантерейные изделия из нейзильбера стали покрывать тонким слоем серебра или изготавливать накладной серебряный орнамент. Посеребренная посуда называлась иногда изделиями из *альфенида*, предметы же с накладным серебром назывались *аплике*. Это слово встречается в произведениях русской литературы. Портной, который шил пинцель гоголевскому Акакию Акакиевичу Башмачкину, говорит, что «Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике». В повести В. А. Спенцова «Письма об Осташкове» описывается зала, в которой «жиденькие стульчики под орех, два ломберных стола красного дерева, на которых стоят по два подсвечника аплике».

Интересно заметить, что популярность изделий из медно-никелевых сплавов не мешала относиться к ним как к подделке, к чему то ненастоящему, некачественному и дешевому.

М. Михельсон, составитель словаря «Русская мысль и речь. Свое и чужое», для иллюстрации употребления слова *мельхиор* приводит следующее высказывание: «Наше время — время подделок: вместо масла маргарин, вместо серебра мельхиор, да и тот, не редко, — поддельный». Для сравнения приводится употреблявшееся в конце XIX — начале XX вв. выражение *маргариновая интеллигенция*, то есть поддельная, враждебная всякому прогрессу. Слова *мельхиор* и *нейзильбер* были наиболее употребительными, но не единственными названиями медно-никелевых сплавов. Кроме известного сочетания *новое серебро*, употреблялись названия *китайское серебро*, *польское серебро*, *германский состав*, *серебровид*, *сильвероид*. Последнее интересно тем, что фактически обозначало не сплав меди с никелем, а латунь, покрытую сверху серебром и потому похожую на мельхиор. Сильвероид использовался для отделки декоративных украшений и был очень редким.

Самым жизнеспособным из всех названий нового серебра оказалось *мельхиор*. Оно по настоящее время является наиболее распространенным и употребительным. Слово *нейзильбер* перешло в разряд терминов: в металлургической литературе существует перечень нейзильберов, выпускаемых промышленностью для нужд техники.

Медно-никелевые сплавы в настоящее время имеют широкое применение в производстве. Из мельхиора традиционно делаются украшения, столовые приборы; различные виды нейзильберов используются для изготовления инструментов, служат материалом декоративной отделки мебели. Одной из важных областей применения медно-никелевых сплавов является чеканка монет, в частности все юбилейные монеты достоинством в один рубль начиная с 1965 года выполнены из особой разновидности сплава, отличающейся повышенной прочностью и стойкостью к коррозии.

Что касается «нового золота», то оно тоже не потеряло применения. Медно-цинковые сплавы служат для изготовления отдельных деталей приборов, применяемых в авиации, например, манометров, а также по традиции из них делается различная бижутерия и фурнитура.



ЧУР МЕНЯ!

А. Л. Топорков,

кандидат исторических наук

В детских играх часто встречается «волшебное» слово *чур*: *Чур, не я вожу!*, *Чур не пятнаги!*, *Чур-чурал!*, *Чурики!* Оно пришло в детскую среду из народных суеверных обрядов и в прошлом широко использовалось не только детьми, но и взрослыми.

Междометие *чур* давно привлекло внимание лингвистов. В середине XIX века, да и позднее его сопоставляли со словом *пращур* и полагали, что *щур*, или *чур*, — одно из божеств языческих славян. Такое мнение высказывается в трудах фольклориста-мифолога А. Н. Афанасьева, историков С. М. Соловьева и В. О. Ключевского, в книге бытописателя С. В. Максимова «Крылатые слова».

Два новейших этимологических словаря объясняют его происхождение по-разному. Согласно «Этимологическому словарю славянских языков» под редакцией О. П. Трубачева, междометие *чур* представляет собой «Достаточно стар. восклицание, выражающее запрет, первонач., по-видимому, в магическом контексте; поэтому может рассматриваться как нерегулярное (экспрессивное, эфемистич.) преобразование слова *čьrta... Семантика черты, линии, рубежа хорошо оцутима в примерах... случаи субстантивного употребления формы *чур* (*чересчур*) вторичны — на базе междом. *чур...*» (ЭССЯ. М., 1977. Вып. 4.)

«Праславянский словарь» под редакцией Ф. Славского (т. II, 1976) возводит слово *сигъ к индоевропейскому корню *keug — «резать, рубить» и приписывает *чур* первоначальное значение «магическая черта, очерченный круг, которого не может переступить никакая нечистая сила».

Мы не будем обосновывать какую-либо этимологию слова *чур*, а попытаемся очертить его культурный контекст. Междометие *чур* и его производные известны главным образом в восточнославянских языках: русское и белорусское диалектное *чур*, украинское, белорусское и русское диалектное *чур*, диалектные формы: *чўру* (смоленское), *чурў* (могилевское), *чурá* (тверское, калужское); польское диалектное *сиг* (в выражении *niech się sig weźmie* «черт бы тебя побрал») является заимствованием из украинского.

Для семантики междометия *чур* особенно важны те случаи, когда оно выступает в функции существительного. В словаре В. И. Даля *чур* толкуется как «край, предел, мера», старинное «грань, граница, рубеж, межа», например, *не ступай за чур*, за черту, *по чур нашел*! В русских диалектах широко представлены фразеологизмы с субстантивированным *чур*: *без чурь* (*чурá*) «слишком, без меры» (рязанское), *без чурá* «то же» (псковское, тверское), *беа чўры* (говоры Приамурья); *не знать (понимать) чурь* «не чувствовать меры, не знать границ» (рязанское), *не знать чўру* «не знать меры» (донское), «не придерживаться установленных правил» (говоры Приобья), *не понимать чўру* «то же» (омское). С фразеологией такого рода связано происхождение наречия *чересчур*: русское диалектное *черес чўру* (*чур*) «слишком, чересчур» (рязанское); *не лей через чур* (Толковый словарь В. И. Даля); *Через чур и конь не ступит* (Афапасьев А. П. Поэтические воззрения славян на природу).

В современном четырехтомном Словаре русского языка (3-е изд. М., 1988. Т. 4) приводятся два значения междометия *чур*: 1. (Обычно в сочетании со словами: «меня», «нас»). Устар. Возглас, означающий запрет касаться чего-л., совершать какое-л. действие (в заклинаниях против «нечистой силы», в играх и т. п.) и 2. Разг. Восклицание, означающее требование соблюдения какой-л. уговор, какое-л. условие.

Чур часто сочетается с личными местоимениями, например: русское диалектное *чур меня от него* «не желаю и его, не хочу быть за ним» (полгородское, смоленское), белорусское *чур мене от тебе*, украинское *чур тобі*, *(не) дай йому чур* и т. п. Специфика украинского языка проявляется в том, что украинское *чур* сочетается только с местоимениями 2-го и 3-го лица.

Междометие *чур* (*чурр*) входит в состав довольно многочисленных формул оберегов от нечистой силы. Некоторые из них широко распространены, другие имеют локальный характер, ср. русское и белорусское *чур! наше место свято*, украинское *чур — наше місце свято*, русское *чур сега места!*, *чур, чур, чур! не тут слово сказано!*, диалектные *чур полно* (новгородское), *чур того, полно!* (вологодское, сибирское), *чур быть, чур господи быть, чур господи, чур будь* (Пинежский район Архангельской области), *чур этому слушанью, аминь этому делу* (Семово Чагодощенского района Вологодской области), *чур, чужа дума, чур, чужи мысли* (Заозерье Мезенского района Архангельской области), *чур, мои думы, чур, мои мысли, чур, мертвы глаза* (Шардонемь Пинежского района Архангельской области). В украинском языке с особой устойчивостью бытует двучленная формула-оберег *чур тобі* (*йому, їй* и т. д.), *пек тобі* (*йому, їй* и т. д.). Поскольку оберег часто направлен против дурного гла́за, во многих украинских формулах упоминаются глаза: *чур та пек лизим очам* (Проскуровский уезд Подольской губернии), *чур очей поганих* (Пирятинский уезд Полтавской губернии). На юго-западной Украине известно производное слово *цураха*: *цураха поганем очем*; чтобы не сглазить, нужно, если хвалишь что-нибудь, смотреть на ноги или на потолок и говорить: «ні вроку!» или «цураха» (Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка. Киев, 1909).

Обычно междометие *чур* используют при гаданиях. Например, в Кадниковском уезде Вологодской губернии в рождественский сочельник «кое-где девушки готовят в нежилой избе чай для двух лиц, садятся за стол и говорят: „Суженой, ряженой, приходи ко мне чай пить“. В том случае, если покажется призрак и сядет рядом с гадающей, последняя должна говорить: „Чур, тово, полно, чур не хочу“, иначе задавит» (Неуступов А. Д. Святочные обычаи в Кадниковском уезде // Изв. Арханг. о-ва изуч. рус. Севера, 1913. № 1). *Чур* могло защитить от нечистой силы и в других случаях. В Южной Сибири, по описанию алтайского краеведа С. П. Гуляева (1847 г.), считалось, что «если над заблудившимся человеком станет *дѣкочаться лешак* и, откликаясь на зов голосом знакомого, заманивать в чащу и глушь, то, выверотив платье, как водится, наизнанку, должно зачураться, сказав: *чур того, полно!*» (Картотека Словаря русских народных говоров).

Во многих случаях защита от нечистой силы обеспечивалась очерчиванием магического круга. В Демянском уезде Новгородской губернии в начале XX века девушки гадали на святах таким образом: «Все девушки снимают тельные кресты с шеи и идут на перекресток. Здесь, став в самый центр „креста“, очерчивают...

лучиюю круг, приговаривая: *Чур на меня*. Каждая из гадающих поочередно ложится на середину круга, прислоняет ухо к земле и внимательно слушает. Если... послышится звон колокольчика или лай собаки, то... девушка... выйдет в этом году замуж; если же послышится плач ребенка, то замужем ей не быть, а детей будет иметь; пение заукокойной молитвы или порубка дров означают смерть» (Зеленин Д. К. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии // Живая старина. 1905. № 1).

Можно думать, что в какой-то первоначальной ситуации человек произносил *чур!* именно при очерчивании себя магическим кругом. Характерно, что глагол *зачураться* мог обозначать не только фемомены речевой деятельности («словом обезопасить себя от чего-нибудь», «при игре — сказать «чур» в знак отказа участвовать в ней некоторое время» и т. д.), но и определенное действие — очерчивание себя магическим кругом. По словам белорусского краеведа А. Е. Богдановича, *зачураться* в конце XIX века значило «оградить себя от нечистой силы, а также... провести черту углем или мелом или чем-нибудь другим па земле или на полу, за которую, согласно поверию, никакая нечистая сила не может перейти. Так „чураются“ все те, которым приходится иметь дело с нечистой силой, особенно с вампирами; так „чураются“ в подобных же случаях герои народных сказок» (Богданович А. Е. Пережитки древнего мирозерцания у белорусов. Гродно, 1895).

Функциональная направленность очерчивания заключается в том, чтобы разделить пространство на две неравноценные части: внутреннее и внешнее, наделяемые соответственно признаками свое и чужое, безопасное и опасное, замкнутое и разомкнутое и т. д. Таким образом, проведение черты соответствует одновременно двум процедурам — присвоению внутреннего пространства и отчуждению внешнего.

Несмотря на значительное многообразие контекстов, в которых функционирует междометие *чур*, можно выделить два полюса, к которым тяготеет его семантическая структура: это, с одной стороны, присвоение, призыв о помощи, покровительстве и, с другой, отталкивание, отрицание, запрещение (ср. русское диалектное *чур тебе!* «отойди прочь» (курское), белорусское *чур мене*).

Для позитивного круга значений междометия *чур* особенно показательны случаи, когда оно выполняет функцию глагола в повелительном наклонении. Например, в одном русском заговоре *чур* синонимично глаголу *спаси*: «Чур мене (диалектная форма выпительного надежа), Господи!» (тульское — Майков Л. Велико-русские заклинания // Зап. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этногра-

фви. 1869. Т. 2), ср. смоленское «Чур Бож всякаго хрищенига!» (Добровольский В. П. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914).

Можно думать, что семантика междометия *чур* сохранила ту же двойственность, которая характерна для очерчивания магическим кругом — действия, с которым, возможно, связано само происхождение слова *чур*. Ясно, что один и тот же возглас *Чур меня!* (например, при внезапном испуге, при встрече с пещетой силой) в перасчлененном виде содержит и призыв о помощи к добрым, божественным силам и заклятие от враждебных, дьявольских сил.

По мере того как сверхъестественное уходило из нашей жизни, «волшебное» слово *чур* все больше вытеснялось из языка взрослых и становилось достоянием детской среды.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Мы часто говорим и слышим: «в загашнике», «из загашника». Объясните, пожалуйста, что означает это слово».

Е. А. Посова, Ленинград

В русском просторечии действительно есть выражения *достать что-либо из загашника*, *спрятать что-либо в загашник*, которые означают: достать что-либо из потайного места; из штанов, спрятать что-либо в потайное место; в штаны. Слово *загашник* словари русского литературного языка не отмечают, однако, оно есть в Словаре русских народных говоров: *загашник* — пояс, шнурок, который продевается в верхнюю часть штанов, шаровар для их подвизывания; гашиник (красноярские говоры); складка в шароварах, в которую вдевается шнур (гашиник — уральские говоры). Слово *загашник* образовано от слова *гашник* «пояс, шнурок, который продевается в верхнюю часть штанов для их подвизывания; кромка штанов и т. д.» Слово *гашник* древнее, праславянское, оно восходит к праславянскому **gatъnikъ* и, далее, к праславянскому **gatjĭ* «штаны» (русское *гачи*).

Почему же *достать из загашника*, *спрятать в загашник*? Раньше к *гашнику* (или *загашнику*) прикреплялся кошелек, поэтому первоначально *достать из загашника* — достать из кошелька, прикрепленного к поясу, *спрятать в загашник* — спрятать в кошелек, прикрепленный к поясу.

Первая советская магистратура

А. С. Подчасов

Летом прошлого года в Институте русского языка им. А. С. Пушкина состоялся первый выпуск группы иностранных учащихся, получивших ученую степень магистров филологических наук в СССР. Наш корреспондент взял интервью у специалистов, принимавших самое активное участие в организации этой новой для нашей страны формы обучения. Мы надеемся, что их оценки и замечания помогут вам понять и оценить значимость происшедшего события и важность его вклада в реформу высшего образования в нашей стране.

Что такое магистратура? Что главное в идее ее создания?— с этими вопросами корреспондент обратился к заместителю директора Института русского языка им. А. С. Пушкина Ю. Е. Прохорову.

— Магистратура — это, говоря коротко, завершающая ступень образования, которая является исходной для начала научной и преподавательской деятельности в высших учебных заведениях. Главное, что я отметил бы в ее идее, это, во-первых, новизна цели, потому что она со всех точек зрения отражает реально общественные потребности мировой русистики, и, во-вторых, новизна программы, аналогов которой до сих пор не существовало. Она соответствует социальному заказу страны приема.

Чтобы вы могли яснее представить себе, что же такое магистратура, скажем несколько слов о двухступенчатой системе образования, принятой почти во всех странах Запада. Пятилетнее обучение в английских, французских, других вузах делится на две ступени. Первая, четырехгодичная, аналогична нашему неполному высшему образованию; по ее окончании присваиваются степени бакалавра, лиценциата или соответствующие им. Человек, прошедший ее, еще не имеет права преподавать в вузо и поступать в аспирантуру. Вторая ступень — магистратура, которая предполагает работу над дипломом и его защиту. По ее окончании выпускнику присваивается степень магистра, и этим завершается высшее образование.

В нашей системе образования учебный план вузов уже с первого курса предполагает сдачу курсовых работ и рефератов, а яв-

тый курс завершается защитой диплома. Формально это соответствует требованиям, предъявляемым к выпускникам западноевропейских вузов. Но их двухступенчатая система принципиально отличается от принятой у нас значительно большей требовательностью к студентам, претендующим на получение степени, более серьезным отношением студентов к экзаменам на защиту степеней и качеством обучения. Не мешало бы и нам повнимательнее присмотреться к зарубежному опыту.

На вопрос: «Для чего нам нужна магистратура?» — ответил один из инициаторов ее создания, заместитель директора Института русского языка им. А. С. Пушкина по международным связям С. И. Сохин.

— Необходимость организации у нас магистратуры назрела давно. В 50–60-е годы, когда мы только начали готовить научные кадры для развивающихся стран, было не до этого. Слишком низок был общеобразовательный и культурный уровень аудитории, с которой нам приходилось работать. В то время во всех развивающихся странах насчитывалось около 900 тысяч студентов. Сейчас уже более 40% всех студентов в мире, то есть более 20 млн. человек, приходится на эти страны. Но готовят их там на уровне бакалавров, а степень бакалавра не дает права преподавания в высшем учебном заведении и поступления в аспирантуру. Для этого необходимо завершить образование, получить степень магистра. В 60-е годы иностранным студентам, обучавшимся у нас, особенно в технических вузах, было дано право проходить двух-трехлетний курс по индивидуальным программам, по окончании которого им присваивалась степень магистра. Но организация магистратуры как таковой, с конкурсным отбором и стационарным обучением, была осуществлена впервые. Ее открытие состоялось 1 октября 1988 года.

По условиям приема, стать магистрантами могли иностранные граждане в возрасте не старше 35 лет, имеющие образование на уровне бакалавра наук, искусств, лиценциата (или соответствующие им уровни образования) по специальности «Русский язык и литература».

— Но с первых же дней обучения преподаватели столкнулись с совершенно разным стартовым уровнем магистрантов, — говорит заведующая магистратурой, заместитель декана факультета повышения квалификации Г. В. Горбаневская. В некоторых странах, например в Малайзии, невозможно получить диплом бакалавра по специальности «Русский язык и литература» — то есть формально без этого диплома мы не можем принять, но среди

малайзийцев встречаются студенты с выдающимися способностями, которые они проявили во время десятимесячной стажировки в СССР. Мы хотели бы видеть их в числе магистрантов. По этим и другим причинам в перечень обязательных для поступления условий были введены специальные тесты для того, чтобы выяснить, владеет ли абитуриент достаточной для обучения у нас суммой знаний.

— То, что мы разработали систему тестов, позволяющих определить исходный уровень подготовки претендентов для обучения в магистратуре и на основании результатов сделать выбор, я считаю очень важным моментом и самым существенным изменением, которое произошло в условиях приема с 1988 года,— продолжает разговор Ю. Е. Прохоров. Формально достигнуты соглашения об эквивалентности дипломов с 50 странами, тем не менее во многих других государствах доверия к советским дипломам пока нет. Для того чтобы его добиться, выйти на мировой уровень, необходимо привести в соответствие наши требования к претендентам на степени бакалавра и магистра с требованиями, предъявляемыми к ним в западноевропейских вузах. Вы сами понимаете, что за два года, которые магистрант обучается у нас, очень трудно, почти невозможно добиться усвоения им материала в объеме нашей программы, если параллельно с этим приходится учить его тому, что не было включено в их программу на родине.

Начинать всегда трудно. Преподавателям, администрации пришлось, как говорится, перестраиваться на ходу. На церемонии закрытия 3 июля декан факультета повышения квалификации Н. А. Мете, обращаясь к магистрантам, отметила: «Нам, преподавателям, было очень трудно. Мы учились вместе с вами».

А что думают магистранты? Один из четырех выпускников, получивших «красные дипломы», Мохаммед Шемах из Туниса сказал: «Я считаю, что свой выбор сделал правильно. Мы, магистры, очень благодарны преподавателям, которые, обучая нас в течение двух лет, не дали нам повода пожалеть о своем выборе».

Мы встретились с преподавателем, о котором с большой любовью и благодарностью отзывались почти все магистранты,— А. Р. Балааном:

— Мой учитель А. А. Реформатский не раз повторял: «Наука не богодельня». Мне на всю жизнь запомнились эти слова, и свою задачу в работе со студентами я вижу и в том, чтобы довести смысл этих слов до каждого персонально,— говорит Александр Рафаилович.— По окончании магистратуры многие идут на

преподавательскую работу. Кроме этого, магистратура — это основная «поставщик» учащихся для аспирантуры.

Это очень важно, тем более, что сейчас идут разговоры о целесообразности принимать в аспирантуру только выпускников магистратуры. Поэтому я вижу задачу магистратуры в том, чтобы довести студента до такого уровня, который дал бы ему возможность успешно заниматься решением профессиональных, научных задач. Я решительно против выражения «учиться в аспирантуре». Я считаю, что в аспирантуре нужно овладевать методологией поиска научной истины, а не повторять то, что недочтено в магистратуре, нужно заниматься научной работой, а не заштопыванием пробелов в образовании. Мы, педагоги, обязаны познакомить магистрантов не просто с русским языком, а с русской филологической школой и ее традициями. Именно эти знания отличают наш сертификат от соответствующих документов, выдаваемых русистам, воспитанным в других филологических школах.

Сейчас мы подходим к индивидуальной подготовке специалистов по целевому назначению. Нужно отдавать себе отчет в том, что, хотя мы и вошли в клуб мировых языков, но в нем нужно еще удержаться, не рассчитывая на поддержку со стороны правительств стран Восточной Европы.

На церемонии закрытия магистратуры Президент Академии педагогических наук СССР, директор Института русского языка им. А. С. Пушкина **В. Г. Костомаров** вручил дипломы выпускникам-магистрам. В своей напутственной речи он, в частности, сказал: «Сейчас у русского языка сложное время. В ряде стран, особенно Восточной Европы, он долгие годы был обязательным для изучения. Сейчас русский язык не пользуется здесь прежней популярностью. Но мы убеждены в том, что его будут учить. Раньше ему обучали многих, но мало кто его знал, теперь его будут изучать немногие, зато они будут его знать. В США, Канаде, Германии, Испании, развивающихся странах растет популярность русского языка. Вы — его послы в своих странах. Я желаю вам, чтобы вы всегда помнили, что вы — лингвисты».

Первый выпуск советской магистратуры — это не только событие для Института русского языка им. А. С. Пушкина. Это событие, знаменующее собой качественно новый подход к системе образования, подготовки научных кадров, подход, за которым будущее.

*Помер оформили художники: Н. Беланов, В. Леонов,
М. Мордвицева, М. Симонова, Е. Чуканова ©*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОМПЕРСКИЙ (главный редактор), Л. К. ГРАУДИНА,
В. П. ГРЕБЕНЮК, В. П. ГРИГОРЬЕВ, А. Ф. ЖУРАВЛЕВ,
Ю. Н. КАРАУЛОВ, Л. М. ЛЕОНОВ, Л. Ю. МАКСИМОВ,
И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ, Л. А. НОВИКОВ (зам. главного
редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (зам. главного редактора),
Н. И. ТОЛСТОЙ, В. Ю. ТРОИЦКИЙ, А. П. ЧУДАКОВ,
Е. Н. ШИРЯЕВ, Д. Н. ШМЕЛЕВ

Заведующая редакцией

Т. С. Колмакова

Художественный редактор

В. А. Леонов

Корректоры

В. В. Беляев, М. Б. Рыбина

Сдано в набор 18.10.90

Подписано к печати 4.12.90.

Формат бумаги 84×108/32

Бумага типографская № 2.

Печать высокая. Усл. печ. л. 9,6

Усл. кр.-отт. 259,2 тыс.

Уч.-изд. л. 9,8. Бум. л. 2,5.

Тираж 30 110

Заказ 598. Цена 75 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука».

Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25.

2-я типография издательства «Наука»,

121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
